С. В. КОРСУНЕЦ

СКВОЗЬ БУРИ

ИЗДАНИЕ АВТОРА

1960

С. В. КОРСУНЕЦ

СКВОЗЬ БУРИ

РАССКАЗЫ, СКАЗКИ, ДРАМА

1960

С. В. КОРСУНЕЦ

СКВОЗЬ БУРИ

ЛАМПА

Сергей проснулся с чувством давно не испытанного успокоения; он бы сказал — почти счастья. Душа его была наполнена до краев. Долго не хотелось ему расставаться со сном, потому что в подсознательной, "хитрой" области было уже известно, что вслед за пробуждением наступит холодное мгновение разочарования, и сразу рванут под ветром и осыплются лепестки, таким теплом и нежностью окутавшие его.

Но и это мгновение было пережито. Ограбленный трезвостью и неминуемой суровостью наступавшего утра, — сначала завывание сирен тревоги, затем грохот и ужас бомбардировки города, — он старался, на этот раз уже разумно, собрать все, что ему еще оставалось от незабвенного тихого сна — куски воспоминаний.

Что же он видел?

Комната, обставленная старой мягкой мебелью. Быстро спускающийся вечер. За окном сгущаются синие тени. На стеклах узоры морозного инея, кончающегося по краям отчетливыми крохотными звездочками неизреченной белизны. А там, за окном, мороз убрал в царские покровы ряд каштановых деревьев вдоль улицы. В доме напротив зажглись огни в двух этажах. Чьи-то женские руки, не торопясь, спустили шторы. В глубине подъезда горит фонарь, и такие же дымчато-голубоватые фонари над пробегающей трамвайной линией.

Это его родной город!.. Но какой же он особенный, отличающийся от современных городов. Что в нем привлекательного и даже чарующего? Сергей не может понять... Он, восьмилетний мальчик, стоит у окна и смотрит, как чинно проходят мимо крепко укутанные прохожие. Чей-то голос подсказывает: "15 градусов мороза"... Пусть и 20... Вот сильная гнедая лошадь протащила сани, груженные березовыми дровами. В лицо от замерзшего стекла веет здоровым холодом, которого не пугаешься: вся комната тонет в приятном тепле.

Ничего вообще не пугаешься!..

Как это хорошо!.. Настрадавшаяся душа понимает то, чего не понимала раньше: что значит мир и вчера, и сегодня, и завтра...

Он сдвигает тяжелые, слегка выгоревшие на солнце занавески с коричневым рисунком ветвей по песочному фону, знакомые с его первых детских шагов.

И тогда наступает момент острой радости — он поворачивается лицом внутрь комнаты и видит зажженную лампу на круглом столе и склонившуюся над книгой темноволосую голову женщины. Это его мать!.. Ему больше ничего не надо... только остановить эту минуту, чтобы она длилась бесконечно...

Женщина сидит тихо, слегка сведя плечи под белым вязаным платком, на который падают тонкие завитки отделившихся от прически волос. Розоватая ткань абажура бросает теплую тень на ее освещенные руки и на склоненный профиль. Но что это? Она начинает странно меняться — светлеют волосы, закругляются черты... Перед ним не его мать, а незнакомая и в то же время невыразимо близкая, та, что еще только появится на его пути и станет родною...

Ее глаза встревожены... О чем читает она? Об исторических событиях, словно шторм трепавших народ? О политической лжи и обманах? О страданиях и смерти?

О, это все было, было... Но уже прошло! Поймите — п р о ш л о!

Об этом свидетельствует ровный свет лампы, кидающий луч в соседнюю комнату. Нет. Никто больше не бросится затемнять окно, нигде больше не раздастся отвратительный вой сирен, не приблизится гул металлических чудовищ, не полетят с грохотом обломки домов... И свет из окна перестанет быть преступлением, подвергающим опасности целый город. Нет, нет и нет. Все прошло.

Борьбы больше нет.

Сергей знает, что он сам, и эта женщина, и самый свет лампы свободны от страха. Ему хочется сказать:

"Какое счастье!", но он боится нарушить покой, чудесный покой, струящийся от домашнего источника света.

Он наполняет все вещи, он входит в мысли, он греет сердце — свет простой настольной лампы мирного человеческого жилища...

НА ПОЛЯНЕ.

Странным шорохом звучали одинокие шаги в лесу, едва пробудившемся от долгой и жестокой морозной зимы.

Лейтенант шел наугад в направлении, где, как он знал, километрах в трех должно было расположиться подошедшее вчера подкрепление. Он двигался без определенной цели. Встал, вышел из землянки и побрел между деревьями.

На этом участке фронта выдалась передышка. Снова все было мокро и вязко, как тогда осенью, когда немецкая моторизованная армия глубоко врезалась, влипла в размытую дождями почву и неожиданно для себя, а еще больше для своего командования, зазимовала. С последней каплей дождя закружилась первая снежинка...

Еще наполовину бело было в полях. Мартовское солнце слизывало плеши на возвышенностях, на буграх; во впадинах прогревало толстую снежную пелену, похожую сейчас на точащие мед соты. А в сосновом лесу было сказочно хорошо! Шуршала, падая, редкая капель, мягко поддавался под сапогом уходящий в хвою снежок. Пахло влажными стволами, прелым валежником, густым дыханием сосны и еще, как пряной приправой, всем, что приносит с собою утренний ветер ранней весны. Бои пощадили этот участок леса, и можно было втягивать воздух в открытые ноздри без боязни снова почувствовать тошнотворный сладковатый запах трупов. "А сколько их откроет весна под сугробами?" думал лейтенант Гусев, мерно по привычке подвигаясь вперед.

По его расчету он прошел километра полтора, и деревья перед его глазами стали редеть. "Опушка? Не может быть! Я просмотрел детальную карту прежде, чем выйти... За опушкой в западном направлении расположение немцев, остатки разбитой деревни... Зачем я пошел? Просто потянуло безудержно ... остаться, наконец, одному, вырваться ..." он не досказал самому себе мысли до конца: поплыли те образы, от которых он хотел отделаться, — непрерывная для него уже в течение нескольких месяцев действительность войны: трупы тех, с кем поутру или ввечеру говорил; привычка есть и спать, сидя и лежа рядом с мертвецами; грохот артиллерийской дуэли и строчащая смертоносная болтовня пулеметов; утомление до предела; мрачная обреченность — "сегодня ты, а завтра я..." и в то же время необходимость быть всегда отчетливым и ведущим среди солдат... Продвижения, атаки, отступления, подсчеты потерь, прибывающие пополнения... И снова все начинай сначала... На долю их роты выпала оборона лесного пространства от точки А до точки Б.

Гусев только в первые дни на фронте не мог справиться с испугом в недрах души, с непреодолимым отвращением в спешке движения наступать на трупы; бежать, криком отдавая приказания, стрелять в намеченную живую цель... Через неделю он был на фронте уже своим человеком, полуавтоматом, которому некогда думать о посторонних вещах, а этими посторонними вещами было все прошлое, удаленное на тысячу километров и на еще большее расстояние провалившимся счетом времени: на фронте сегодня то же, что вчера. Коротко говоря, он научился жить особой, оторванной от нормальной, жизнью, валясь спать в состоянии сугубой бесчувственной усталости. Эта усталость души, заезженной впечатлениями беспобедных боев и настороженной опасности, тяжелой ответственности за многих, мешала думать даже о самых дорогих и близких людях. Если их образы изредка и появлялись, то в вылинявшем, бледном виде, словно переводные картинки вместо живых лиц.

Постоянная повышенная напряженность рождала

странное равнодушие. Именно от этого сознания Гусев сегодня сбежал в лес. Лес жил сам по себе.

Еще несколько шагов, и перед ним открылась поляна с молодою березовой порослью на противоположном пятидесятиметровом конце ее.

Над поляной голубело чисто вымытое небо, и сноп света и тепла лился сверху, властный, радостный и требовательный. Пятнами среди очерков снега выступала прошлогодняя зелено-желто-коричневая быль травы, листвы, земли... И там, где уже легли обнаженные согретые полосы, показались головки подснежников, самого лесного, самого деревенского цветка.

Не дойдя пары шагов до поляны, Гусев остановился, как вкопанный, прислонясь к могучему стволу сосны-бабушки: "Вот она — жизнь! Маленький подснежник, а как много он говорит!.. Новая жизнь, всегда обновляющаяся, все побеждающая... даже наше проклятое время!" Он отдыхал. И почти сразу в его притупившемся наполненном горечью мозгу зашевелились иные — мирные — картины: дом, в котором он жил до призыва, лестница с несколькими скрипучими ступенями, маленькая квартирка... и в этой квартирке самое главное — кроватка Ляли, пятилетней дочки... У Ляли небольшая головка, как у матери, и пушистая волна каштановых вьющихся волос... Ляля не сон, как не сон прошлого и сама ее мать Надежда Авксентьевна... Почему он назвал ее по имени-отчеству, как чужую?.. Так далеко отошла от него платформа вокзала с провожающими, Надин последний взгляд... Ребенок в серой заячьей шапочке высоко у нее на руках... Было. Ушло. Почта приходит редко ... В последнем письме сообщается, что Ляля перенесла корь.. А есть ли у нее молоко? Хватает ли им картошки и капусты, которые он запас еще с осени?

На душе у Гусева становилось заботливо и тепло. Внезапно он вздрогнул. В своей глубокой задумчивости он пропустил первый треск валежника под ногами идущего человека. Значит он у поляны не один. Шаги яснее... Кто второй?.. Рука потянулась к кобуре пистолета. Шум приближался с вражьей стороны. Сколь-

ко их? Успеет ли уложить непрошенных гостей, или они расквитаются с ним?

Отчетливое, неосторожное похрустывание. Тот, кто шел навстречу, не опасался, только приостановился перед просветом поляны и... запел вполголоса по-юношески неустойчивым тенорком. Гусев плохо знал немецкий язык, но мог понять простейшие слова: солнце, весна, цветы...

"Да", с иронией подумал он: "и солнце, и весна, и цветы, и чужой мальчишка, которого я сейчас пристрелю... Где же он? Чего он медлит?.. Поскорей бы кончить с этим делом и пора уходить назад! Вот и тут, даже на час, война не дает очнуться и быть просто человеком!.."

Между стволами деревьев мелькнуло зеленовато-коричневое пятно, и на поляну выкатился белобрысый курносый немчик лет 18-19.

"Юнец!" Вся война представилась Гусеву мерзким делом. У двух народов не было ненависти друг к другу, как не было ее и у него, Ивана Гусева. Откуда было ее взять, когда его воспитывали под знаком Интернационала? Война была решена где-то на верхах правлений, как шахматная игра!.. А вот он должен сейчас пристрелить мальчишку, спокойно движущегося под его прицелом. "Какая нелегкая сила принесла его на поляну?"

"Фриц" по-глупому улыбался и подносил к носу пахнущий одной только лесной свежестью букетик подснежников. Он снова неуверенно замурлыкал свою песенку, и Гусев различил слово "любовь". Он начал внутренно раздражаться: "Ну, конечно, у него осталась на родине немецкая девчонка с двумя толстыми светлыми косами и налитыми румянцем щеками..." думал лейтенант, представляя себе трафаретный тип немочки, как мы вообще привыкли штамповать типы чужой национальности. Но, вопреки всему надуманному, невольная улыбка непрошенно скользнула по его губам, а рука, сжимавшая холодноватое орудие смерти, опустилась.

"Что ты делаешь?" возмутился он внутренно: "прежде всего это враг, стоящий на твоей земле... Не

забывай!“ В сердце больно засосало: ”Убить в бою — да! Но не сейчас... Под весенними лучами в две недели сгниет до неузнаваемости... У мальчишки — мать, невеста, мечты, вероятно такие же скромные, как эти подснежники... А чорт с ним! Пусть живет!..“ Гусеву некогда было формулировать свою мысль, что на пути столкновения двух человек воюющих наций встало внезапно все бытовое, все дорогое, человечески теплое, как сама жизнь и это утро на поляне. Гусев затаился и ждал. ”Фриц“ покрутился еще немного, сорвал еще несколько наивных белых цветков, вздохнул полной грудью и, медвежевато ступая, побрел на запад.

Тогда и Иван глубоко перевел дух, словно с его плеч одновременно сняли и тяжесть убийства и ненужный смертельный риск для него самого.

”Миновало!..“ возвращался он к своей землянке бодрым уверенным шагом.

КРЕСТИК

Вена. 24-е декабря 1944 года. Красные уже под Будапештом. В прекрасной австрийской столице, до отказа наполненной беженцами с востока и юга, днем шепчутся о том, что эвакуации из Вены не будет, что ее сдадут русским. Война приближается к своему катастрофическому для Германии концу. Австрийцы втихомолку проклинают тот день и час, когда судьба связала их с Гитлером. Что ждет их страну и каждого человека в отдельности?.. А что будем делать мы, беженцы, живой материал для расстрела?..

Вена устала от бомбардировок и полной тьмы с наступлением вечера. На улицах уже давно не зажигают фонарей, а все окна строго завешены черными портьерами, черными шторами. Трамваи и люди движутся, как призраки, возникая из мглы.

И все же город старается жить присущей ему жизнью... до 9 часов вечера. Он сопротивляется всем на-

рушениям его привычного дневного быта: он продолжает трудиться; залечивает раны, выбитые на его теле гранатами и зажигательными бомбами; он приспособляется к новым условиям, начиная от молодых матерей, которые в 9 часов утра в ожидании налета катят колясочки с младенцами в сохранившиеся под землею катакомбы и брошенные шахты или в многоэтажные непроницаемые башни. Рестораны и кондитерские открыты. Там тепло и уютно. В обеденное время можно прислониться к высоким деревянным спинкам диванов, отдохнуть... Надо только очень мало кушать, осторожно вырезая пищевые карточки: 50 грамм мяса, 5 грамм жира, немного картофеля и серый маленький хлебчик старого фасона, но неизвестно из какой смеси. Жолуди? Быть может. Об этом не плачут.

Вена — город бодрости и любезности; город смеха, легкой романтической любви и покаяния в грехах. Она измениться не может и сама себе не изменит.

В Рождественский вечер 1944 года в великолепном старинном соборе Святого Стефана совершалось торжественное богослужение.

В этот вечер я встретилась с моим неразлучным другом по Вене белокуро-седою Ириной, и вместе с медленно текущей по Картнер-Штрассе толпою попала под высокие готические своды.

В памяти осталось. Вдохновенно и мощно звучал орган, унося душевный порыв от корчившейся в страданиях земли к неведомому простору неба, где, как сказал Христос, "В доме Отца Моего обителей много"... Ярко освещенный алтарь, белизна одежд священнослужителей и великолепное шествие стариков в малиновых облачениях; их умные резные лица, похожие на лица римских патрициев... Короткие повторяющиеся богослужения, отпускающие верующих к себе домой, к семье, если она есть, с чувством прикосновения к тайне рождения Божественного Младенца... Огромная, все время переливающаяся толпа приходящих, молящихся, уходящих в благоговейном молчании. Свой собственный озноб напряженного моления: "Господи, помилуй!"

Рядом — тонкий профиль Ирины. Ее сине-серые усталые большие глаза, устремленные вверх. Я знаю, о чем она молится: вероятно, уже о несбыточном. По слухам, в Белграде убит ее взрослый сын; невестка и внук неизвестно где. А мать не хочет верить, она еще цепляется за надежду, что ошиблись, напутали, что это не ее Игорь погиб; так много ложных сведений принесли с собой те, кто выехал позже нее из Югославии... Тихий, глубокий вздох: "Что ж, Наташа, пойдем. Пора..."

После радостного света еще более глубокая охватывает тьма, но и в ней сегодня чувствуется праздничная торопливость людей, движущихся, как черные силуэты на темно-сером фоне. И мы себя до какой-то степени чувствуем празднично, хотя наш православный Сочельник только через 13 дней. Доживем ли до него?..

Вот сейчас, сегодня, хочется приобщиться к празднику этого города, хочется душевной теплоты и если не елки с горящими свечами, так, по крайней мере, чашки горячего чая за столом и беседы о том, какую в нашем детстве "мама зажигала елку".

В маленьком ресторанчике, в закоулке возле набережной, мы наскоро обедаем незавидными остатками от меню под недовольные взгляды лакея: "Кто в такой вечер не сидит дома, а приходит поздно и задерживает..." Кроме нас, еще один посетитель. Когда он поворачивает голову, то оказывается старым знакомым и совсем для нас несимпатичным человеком. Но разве сейчас время спрашивать о добродушии и обаятельности?.. Нет. Он такой же потерявший личную жизнь и уют насиженного места, как и каждая из нас. Не долго думая, только бросив взгляд на его исхудавшую фигуру и уныло бегающие по пустым столам черные глазки, Ирина пригласила его к себе "на чашку чая".

В нашем распоряжении два с половиной вечерних часа — целое богатство для людей, живущих по указке военного времени. Вместо обычных 9 сегодня разрешено ходить по улицам до 10.

Ирина устроилась "по-буржуйски". Вену и венцев она знает хорошо, прожив здесь ряд лет между двумя войнами. У нее отдельная комната в квартире вдовы

врача-капитана. Убит в 1943 году "в бесконечно далеких снежных полях России".

Быстро проходим через переднюю. Дверь в освещенную столовую открыта, и там за столом мелькнули двое: завитая блондинка в синем шелку и загорелое лицо молодого человека в военной форме. "Моя хозяйка приютила летчика, отпущенного на праздники", быстро и как будто немного застенчиво объясняет Ирина: "он приехал к сестре, а застал только развалины дома, похоронившего всех своих жильцов в подвале... в двух шагах отсюда. Мы проходили мимо . . . Она старается заменить ему мать и сестру на те несколько дней, которые отделяют его от фронта. . ."

И мы понимаем, что за словом "фронт" стоит еще слово "смерть", та белая нежеланная гостья, которая ходит пока около нас, но в любой день может заглянуть прямо в лицо со строгим приказом: "Пойдем!"

А сегодня Ирина постилает хорошенькую цветную скатерть на круглый столик, заваривает чай и подает в баночке искусственный мед. Роскошно! Мы улыбаемся и начинаем говорить наперебой:

— Да, я получил письмо от жены из Зальцбурга. Там относительно безопаснее: город лежит в долине, по бокам горы, а на них зенитные орудия, не подпускающие аэропланов . . . Любочка уже работает — шьет в мастерской. . .

— А мой муж занялся делами и не успел выехать из Белграда. . .

— Вот-вот. . . И моя сестра осталась, а могла уехать. . .

— Так почему же?

— Мальчишка задержал родителей: отказался наотрез. В гимназии у них шла пропаганда: "Лучше большевики, чем немцы. . ."

— Не будем говорить о том, что болит, — вмешиваюсь я: — лучше расскажите про первую елку, которую вы помните. Где это было? На Волге? В Варшаве? В Москве или Киеве? . . На Кавказе, в Мурманске, в Иркутске? . .

"Широки просторы русские", на мотив народной песни затягивает Ирина мелодичным сопрано и тут же обрывает, чтобы не нарушить покоя чужого дома, не вонзить занозы: ведь в этой квартире висит портрет ее хозяина, обвитый черным крепом. Никто из нас в этом крепе не виноват, хотя мы и родились на той земле, где его похоронили.

— Когда Игорь был еще маленьким, — говорит Ирина, — мы жили в 3-м районе Вены... Нас вывез из Советского Союза австриец-военнопленный, работавший у мужа. Я была уже вдова... Здесь я зажгла для моего мальчика его первую елку. Мне самой было тогда 22 года, а сейчас скоро минет 50. Кажется, я сделала все, чтобы дать сыну прекрасное образование... Он стал на ноги, женился на хорошей девушке.. внуку едва полтора года... Нет, я не верю, что Игоря нет в живых... Это было бы слишком несправедливо...

И мы вторим ей: "Пустые слухи. Ни на чем не основанные... В Сочельник мы соберемся в русской, бывшей посольской церкви".

Прощаюсь. Почти час полудремоты в мерно громыхающих трамваях. Рядом со мной такие же молчаливые, погруженные в себя люди. Моя остановка. Еще два квартала пешком, и я ныряю в подъезд одноэтажного здания, где помещается общежитие Западного вокзала, мое постоянное ночное пребывание. Только ночное, так как с 9 утра до 6 вечера оно закрыто. Чтоб получить право на койку в натопленном помещении, каждое утро я бегу на станцию и покупаю билетик. Может нахлынуть большая волна беженцев, и если заранее себя не обеспечить ночлежкой, то останешься на улице. В этот вечер я возвращаюсь одной из последних.

Полугорничная-полузаведующая женским общежитием встречает широкой улыбкой и поздравлением с праздником. Даю ей "на чай" обильнее, чем обычно. Эта особа — добавочная стоимость моей постоянной кровати за номером таким-то. Белье меняется раз в две недели, и если фрау Бесс не подмазать, то очутишься на чужой, может быть, уже много раз использованной.

Огромная зала бывшего ресторана при гостинице вмещает 80 человек. Большинство появляется и исчезает, а меньшинство, осевшее в Вене, придерживается своего угла и ближайших соседей, биография которых уже известна. Тихонько прохожу между рядами спящих женщин. На твердых подушках покоятся утомленные и часто скорбные головы всех национальностей. Тут и немки, и польки, венгерки, француженки, русские — "всякой твари по паре..."

Моя соседка еще молится, поставив в изголовье образ Казанской Божьей Матери, с которым она никогда не расстается, унося его с собой на работу. Но что это? В полусумраке различаю у себя на подушке крестик... крестик, сложенный из домашних печений. Возможно ли? Кто? Стою пораженная и растроганная: кому пришла в голову мысль поделиться такой драгоценностью? Кто подумал обо мне? Кто так нежно поздравил?

Мария Ивановна крестится в последний раз и, бережно завернув икону в тонкое вышитое полотно, кладет под подушку. Она вытягивает голову и шепчет:

— Это Илонка-художница положила Вам... Получила посылку из деревни от матери и все ждала Вас, хотела рассказать содержание письма. Устала бедняжка и легла. В письме были и карточки двух ее сыновей — славные белокурые мальчики...

Я стою у кровати, переводя взгляд с крестика на бледную головку спящей тридцатилетней женщины. Она "обитает" наискосок от меня. Светлые коротко подстриженные волосы, прядь, спустившаяся на висок, синеватые тени под глазами, складочки печали в уголках полуоткрытых губ... Я ее мысленно называю "больная камея". В разгар войны муж-инженер бросил ее с двумя детьми, увлекшись предприимчивой чертежницей, жившей по общедоступной морали: "хоть день, да мой!" Илонка пережила нервное потрясение, пролежала месяц в больнице и встала с постели... хромой! Маленькая, изящная даже в старом джемпере и юбке серо-голубоватых тонов, еще не смирившаяся со своим калечеством припадания на одну ногу, она каждое

утро ходила к подруге, дававшей ей на день приют, и там до сумрака рисовала все, что ей заказывали: портреты, подушки, ширмы, лампы, тарелки, головки кукол, открытки. Так она содержала себя, свою мать и детей. Она никогда не ропщет, не сердится; только в ее улыбке и взгляде серых прозрачных внимательных глаз затаился упрек: "Что же со мной сделала жизнь?!"

Осторожно разрушаю линии креста, собирая печения в сумочку, и ложусь. Но сон не приходит. В душе встают все переживания дня, свои и чужие. Несутся мысли потоком...

Высокие своды Божьего храма, не сегодня, так завтра обреченного на разрушение... Люди, мечущиеся, как песчинки на ветру, поднятом тяжелыми колесами истории... Драмы на каждом шагу...

Поворачиваю голову, чтобы посмотреть, тут ли еще она? Полька-красотка, выхваченная из ее квартиры в Варшаве и отправленная в распоряжение венского Арбайтсамта. С издевкой ее назначили на самую тяжелую работу: она токарь по металлу на заводе. Каждый вечер в изнеможении сидит на верхней койке кровати-бункера и тихо раскачивается... Она обособлена, боится людей. Я знаю несколько польских фраз и завоевала ее доверие. "У меня нестерпимо болит спина, и я не в состоянии сразу лечь... О, если бы я могла найти хоть одного их тех австрийцев, которые бывали у меня в доме... Но у меня нет ничего, ни одного адреса... Мне позволили взять с собой только один чемодан, куда я бросала то, что попадало под руку". В нем у нее пара платьев и несколько перемен дорогого вышитого шелкового белья, свидетельствующего о том, что она не лжет, когда говорит о собственном доме на улице Шопена, о двух автомобилях, шофере... Муж убит на Театральной площади во время восстания... Что ее ждет? Или скоротечная чахотка от непосильного труда, или гнусное покровительство одного из ближайших начальников. Выбирай!..

Она еще тут.

В ногах у меня, через проход, две болгарки, мать и дочь. Мать не спит, у нее своя забота...

Слышны тяжелые дыхания сна, но над ними поднимаются иные, душевные излучения скорби, равняющие всех нас, подневольных, беспомощных...

А вот у меня на подушке лежал сегодня крестик, символ любви и надежды, сложенный милой рукою маленькой художницы. Как много она сделала для меня, одинокой в чужой стране, в дни потерянной неизвестности. Засыпая, я улыбалась, и сон пришел в светлых образах, ничего общего не имевших со Второй Мировой войной.

Крестик Илонки в Рождественский вечер Вены я никогда не забуду.

ТИХИЙ ПАСТОР.

Июнь 1945 года.

В небе бредут чередой легкие растрепанные облака. И если в синеве небесного свода, пересекая их белые хлопья, быстрой птицей пронесется самолет, мы смотрим на него со смешанным чувством удивления и успокоения: он не несет с собой разрушительного груза, он не осыплет из пулемета смертоносными жалами.

Утро воскресного дня. Уже отзвонили колокола католического храма, призывая к обедне. Потянулись горожане в тирольских костюмах и горожанки в своих темных солидных праздничных платьях, украшенных бантами черных шелковых лент; на головах — старые соломенные шляпки тарелкой; в чисто вымытых рабочих руках зажаты молитвенники. Особенно девственно, по-весеннему, глядят белые кружева вокруг шеи и на длинных рукавах.

Х — городок маленький, приютившийся в отрогах Зальцбургских Альп. За спиною у него хребет, граница Австрии и Баварии; по другую сторону — волнистая линия холмов, предшественников могучей горной семьи. Река отделяет старую часть города с ее узкими улицами, нарядными лепными вывесками — клю-

чами и кренделями, висящими над головами прохожих, трехсотлетней церковью и маленьким кладбищем вокруг нее, где упокоились бароны и графы и седые легенды, от новой, простой, плоской, повседневной. Здесь место для фабрик, для школ и одноэтажных домиков. На реке ни паруса, ни лодки, ни баржи и ни одного обнаженного тела — черезчур холодны и стремительны ее волны, несущиеся с высот.

Совсем недавно X жил напряженной, совсем ему не свойственной жизнью: на искусственной заводи выросла фабрика военного снаряжения, а дальше, в отвесе горы день и ночь звенели тяжелые сверла, выдалбливая в скалах коридоры и залы подземных мастерских одного из не виданных еще родов оружия. Тысячи иностранцев ютились в бараках и с рассветом выходили на работу, чтобы к вечеру в полном изнеможении вернуться на свои деревянные нары.

Еще злее, еще угрюмее смотрел концентрационный лагерь. "Преступники против Райха" сутки за сутками отдавали свои силы на истребляющий их труд. Час за часом и день за днем голод, холод и принуждение.

Городок знал, молчал и сторонился. У него были свои собственные тревоги: волею судеб он включен в размах Третьего Райха...

Война пришла к концу. Заводы стали, лагеря опустели, только в крупном каменном здании Ремесленной школы скопилось несколько сотен беженцев всех национальностей.

X зажил попрежнему. Открыли комоды, вытряхнули залежавшуюся одежду. Послали по почте, которая снова начала работать, извещения родным и друзьям, что уцелели. "А вы как?" Описали сколько страху натерпелись от близости именитых соседей: Зальцбурга с его мощным железнодорожным узлом и Берхтенсгадена, спрятанного среди снеговых вершин гнезда самого Гитлера!..

На их счастье пролетали самолеты над головами к намеченным целям, и лишь белым испугом покрывались лица жителей — эти длинные лица с тяжелым подбородком и узким разрезом глаз.

В майские-июньские дни мужчины в тирольских костюмах собирались на площади перед гостиницей "Трех уток" и толковали, засунув руки в карманы коротких кожаных брюк, как им отделаться от двух насущных забот: обвинения в нацизме и остающихся еще в стране иностранцев, жующих их хлеб. Говоря по совести, им было все равно, что делается в остальном мире и даже в собственной столице — в Вене. Они не привыкли особенно часто выходить за пределы своей долины, огороженной со всех сторон, и не привыкли думать о постороннем. Встряска войны перещупала семьи, нанесла раны, убытки. Во многих домах, построенных одно-два столетия назад, оказались пустыми комнаты Францев и Фрицев, Генрихов, Иосифов и Оскаров... Было о чем поговорить, горестно покачивая головами:

— Да, да... если бы кто-нибудь мог знать заранее...

— Лишь бы нас теперь оставили в покое... В конце концов, мы слишком маленькие люди, чтобы быть виноватыми и ответственными за чужие поступки... Мы делали все, как другие...

Они подразумевали жителей таких же маленьких городков, разбросанных в расщелинах хребта, обособленных в продолжение веков, и недоуменно пожимали плечами.

Бим-бом-бом... Слабый колокол зовет! На самом берегу реки по ту сторону приютилась маленькая евангелическая церковь. И ее и дом пастора слегка потрепало снарядом. Дыра в стене наскоро забита досками... Бедная церковка из темного деревянного теса, человек на 200 прихожан, но и тех нет налицо.

Мы, русские, случайно очутившиеся в последние дни войны в городке X, облюбовали евангелический молитвенный дом с его тихим, вдумчивым пастором. Он был похож на подбитую благородную птицу: горбоносый подобно многим горцам, исхудавший, с глубоко сидевшими желтовато-серыми глазами и прихрамывающей походкой.

Мы скромно занимали места на задних скамейках. Все было необычно для православных: гладкие белые стены, отсутствие икон, один только строгий крест на том месте, где у нас алтарь. Женский хор садился на первые скамьи и пел ровно, негромко, понятно. К нему иногда присоединялись многие из прихожан. Весь смысл богослужения сосредоточивался на пасторе.

Он явственно и проникновенно произносил молитву Богу, им самим составленную и связанную с сегодняшним днем и переживаниями его паствы. В благоговейной тишине каждое слово падало в души людей, внутренним зрением глядевших в невидимый мир. Во время войны этот мир подошел к ним вплотную.

Вот пастор поворачивается и направляется к узенькой лесенке, ведущей на кафедру. А кафедра, как гнездо, на половине высоты стены. Он начинает проповедь мягким грудным голосом, делая перерывы, чтобы дать время впитать тот огромный смысл, который вложен в нее.

Сколько часов, суток, недель понадобилось ему, чтобы обдумать цепь проповедей? Как прожил он тот десяток лет, когда на территории "Великого Райха" не дозволялось мыслить свободно?

Тихий пастор... Воскресение за воскресением он говорил, не называя ни одного имени, о том, как вся страна и их маленький городок, и те, кто сидит перед ним, и те, кто не мог прийти в церковь Божию в светлые июньские дни — больные, раненые и лежащие уже под своей и под чужой землей — дошли до трагедии полного поражения и разгрома, какого не знала история.

— Разгром и поражение заложены были в самом современном человеке, произошли по его вине.

Почти две тысячи лет тому назад прошел по земле Великий Учитель, поведавший людям, как надо жить, чтобы приблизиться к Творцу и вынуть жало скорби из всех человеческих отношений.

Но Его не послушали.

На чем были воспитаны последние поколения молодежи? На любви или на ненависти? Надо признать: "Да, на ненависти, гордости и бунте".

Не этими ли чертами обладал и библейский злой дух, в образе змия искусивший Адама и Еву? Во все века и у всех народов он поднимает голову и пользуется устами тех, кто отрывает человеческий разум от Высшей Силы и ищет в самом себе и своем понимании мира новый закон для управления государством и личностью.

Блестяща чешуя змия; его глаза светятся заманчивыми переливами драгоценных камней; движения его тела охватывают подобно объятиям... Наша мысль следует за лжеучителем, сама того не замечая, и видит миражи в пустыне.

Разве мы еще недавно не присутствовали при мираже счастливого устроения одной страны, одной нации во вред остальным?... Казалось, чего же лучше: внутри национального круга провозглашены были принципы равенства всех — от чернорабочего до профессора университета и министра; социальное обеспечение старости, болезни и отдыха... Защита материнства... Я не буду перечислять всего изобилия реформ. Мы видели план идеального города будущего, в котором оказалось место всему, кроме Церкви... Почему?

Все, что было сделано на первых шагах социализма, казалось, соответствовало нашему представлению о справедливости. Но что же получилось на самом деле?

Запертая в узком пространстве своих границ страна работала, не покладая рук, над постройкой дорог, жилищ и заводов. Разоренный земледелец снова встал на ноги и обогатился... Но незаметно выросло единственное в мире вооружение и потребовало всех сил народа для подготовки войны с соседями — на севере и на юге, на западе и на востоке...

Партийная каста подвергла гонению происхождение человека, мыслительный опыт и свободу суждений. Она провозгласила: "Долой высоты!"

Высоты?... Христианские идеалы любви, самопожертвования, сострадания, стремления к совершенству

и преданности Творцу — вот что стояло на пути людей, сделавших человека земным божеством. К нему протянулись молящие руки.

На наших глазах росли дети, оторванные школой от семьи, маленькими волчатами смотревшие на "отсталых" родителей. Среди узких плеч подростка билось сердце, наполненное самомнением, и он равнодушно и гордо проходил мимо дверей церкви. Она была ему не нужна...

Мы видели юношество, великолепное по своей физической силе и красоте, исполненное духом товарищества и убежденностью в своем праве топтать писанные и неписанные законы, созданные тысячелетиями.

Во что научили его верить?

В силу рук, металла, взрывчатых веществ и в мудрость вождей...

С этим багажом оно переступило границы и вышло в чужие земли.

От ненависти родилась... тоже ненависть!

Многие ли из мощных и гордых вернулись домой, под скромную крышу? К старым очагам?.. Их кровью пропитана земля!..

Страшно бередить раны матерей и отцов, жен и детей, но мы должны дать себе отчет, как это произошло.

В минуты, часы и дни глубокой скорби мы особенно ясно сознаем присутствие Божественной Силы, ненарушимость законов Творца. Мы — нищие и прокаженные — тянемся к Милосердию Божию...

Господи! Услыши молитву нашу. Дай мир страдающим...

Гордое поколение отвернулось от Творца и от Его Сына. Оно искало новых богов и вернулось к язычеству. Страшно подумать, что в двадцатом веке можно было поклоняться идолам, физическим силам природы и забыть духовный опыт катакомб, крестовых походов и распространения христианства по всему миру.

Мы слишком греховны и слабы, чтобы познать Всевышнего во всей Его полноте. На землю был послан Христос, приблизивший нас к Истине. Выше того, что

Он сказал в Своих заповедях и притчах, не было и не будет сказано. Евангелие — это толкование Истины, умещающееся в пределах человеческого разума.

И нам некуда итти от Него, и мы не можем перешагнуть через Него.

Христос — наш Вождь на пути к Богу.

Так говорил маленький пастор. На скамьях сидели люди с простыми обветренными лицами, в большинстве женщины и девочки, пожилые мужчины. Казалось, что недостаточно плодотворна почва, на которую пастор бросает зерна, и было жаль, что нельзя скромные беленые стены церковки раздвинуть до размеров собора. Однако жизнь показала иное: семя, брошенное в добрую почву, родит сторицею.

Ранней осенью тихого пастора вызвали к себе в лагерь сидевшие за проволокой эс-эсовцы. Чем они были в течение нескольких лет? Цвет нации, силачи и воины с головы до пят — беспощадный таран в живом теле других народов. Теперь — военнопленные.

В старой поношенной одежде, изголодавшиеся на скудном штрафном пайке, работая над починкой железных дорог и разбитых домов, они имели время подумать над тем, что привело их к поражению.

9.

Прошло несколько месяцев. Случайная встреча с пастором на вокзале Зальцбурга. Спрашиваем: — Как могло случиться, что эс-эсовцы позвали вас?

— Очень просто: кое-кто из женщин, моих прихожанок, навещал своих близких в лагере С-С.

— И что же? Неужели покаяние?

Пастор ответил, глядя вдаль, словно видел перед собой свою странную новую паству: "Все люди — люди . . . Покаяние не у всех, у половины, может быть... Остальные упорствуют и проклинают все и вся, кроме самих себя".

Подошел поезд, и пастор уехал в свой горный X, где, как в капле воды, отразилась в миниатюре драматическая история Второй Мировой войны.

МИЛОСЕРДИЕ

— Пойди, погляди, Степа, чего он опять надрывается?

Женщина оторвалась от своей работы — починки брюк, и подняла на мужа тоскливый, обеспокоенный взгляд открытых серых глаз. На вид ей было лет 40 не больше, но когда-то румяные щеки носили сейчас печать утомления и недоедания: коричневатая бледность тянулась от слегка выпуклых скул к вискам, где появились первые седые пряди среди русых гладко зачесанных волос.

— Известно что, — ответил хмуро Степан Иванович Житенко, подходя к дверям барака и приоткрывая щелку, чтобы видеть, но не быть видимым: — Над народом измывается.

Хотя картина была знакомая, но он не мог от нее оторваться. На площади, перед выходом из лагеря остовцев "Зюд-Вест" стояла высоко и тяжело нагруженная телега, и Лагерфюрер*) Генрих Глангерман требовал от небольшой группы случайно попавшихся ему навстречу восточных рабочих, чтобы они впряглись в нее и отвезли на станцию к ближайшему поезду. Недавно вернувшиеся с земляных работ утомленные люди замешкались; никому не хотелось изображать из себя коренника. И тогда над толпой раздалась звонкая немецкая брань:

— Ах, вы, лентяи, русские свиньи! Не притворяйтесь, что вы не понимаете — уже по два года живете в Райхе и едите наш хлеб... Но не думайте, что вы будете есть его даром!..

В воздухе блеснуло голенище сапога, и одновременно раздался крик избиваемой жертвы. Степан Иванович осторожно закрыл дверь и повернулся побледневшим лицом к комнате, где люди уже оторвали головы от соломенных подушек и прислушивались ко многим протяжным воплям.

---

*) Заведующий лагерем.

— Никак **ему** подмога подоспела?.. — пробормотал сосед, свешивая со второго этажа двойной деревянной постели, "бункера", свою взлохмаченную голову.

— Да уж не пощадят... разделают бандиты! — угрюмо ответил Степан, подошел к жене и сел рядом с нею, охватив за талию, словно этим жестом он пытался защитить и охранить ее от всех грядущих возможностей. Женщина только глубоко вздохнула и продолжала мелькать иголкой, ловя свободные минуты и свет слабой электрической лампочки, завешенной обрывком серой оберточной бумаги.

— И ведь кàк всегда норовит, чтобы непременно по коленке, — раздается голос из угла комнаты, в которой на тесно стоящих нарах помещается 36 человек.

— А для того по коленке, чтобы с ног сшибить и в больницу отправить.

Не для кого из них не секрет, что из больницы выходят живыми очень немногие; обычно это путь на тот свет нетрудоспособного элемента. Людей не жалеют, их привозят тысячами с русской территории и определяют не именами, а номерами: 700245 и т. д.

Германская нацистская государственность ко второй половине войны выработала особую формулу: высосать из человека всю его живую силу и уничтожить бесполезный футляр. Эта формула, применяемая сначала к евреям, полякам и остовцам, постепенно стала входить в употребление и в больницах для собственных граждан, обессиленных трудом или старостью. Смертельная инъекция стоила дешевле, чем содержание ненужного человека в задыхающемся от блокады Райхе.

Через несколько минут около стен барака раздались спешные шаги и стоны: волокли избитых.

— Туши свет! — приказал Степан. Но было уже поздно — дверь распахнулась. На пороге стояла высокая, как из одного куска дерева вырубленная фигура в черном костюме военного покроя. Лагерфюрер обвел комнату скользящим взглядом прозрачных голубых глаз:

— А вы все еще не спите? Жжете электричество, когда предписана величайшая экономия?! Недостаточно устали? — по губам его пробежало нечто едкое, напоминающее улыбку, когда он уставился на Татьяну Емельяновну, застывшую с приподнятой иголкой в руках. Наступило жуткое минутное молчание.

— Завтра на штрафное дежурство, — сказал он удовлетворенным тоном и еще раз ощупал глазами миловидное лицо с неморгающими ресницами. — Все женщины 2-го барака в воскресение мыть нужники! — добавил он уже в дверях, с треском полетевших на свое место.

— Что?! — ни к кому не обращаясь, спросил Сте-
инстинктивно прижата его спина; кулаки разжались и
пан и тяжело отделился от бункера, к которому была
беспомощно повисли. Крепкий широкоплечий крестьянин одной из южных областей он был схвачен вместе с женой и девушкой-дочерью на улице колхоза, брошен в товарный вагон в чем был и как был и вот уже второй год прикреплен к лагерю "Зюд-Вест" близ большого австрийского города. В окрестностях строились заводы. С утра до сумерек мужчины и женщины таскали и клали кирпичи, разводили известь, укладывали трубы. Штрафное дежурство означало чистку картофеля и брюквы на кухне до глубокой ночи.

— Что?! — повторил голос из темноты комнаты: — а то, что Мишки Твердых нет на своем месте; пошел, чтобы повидаться с сестрой Пашей и, значит, пропал...

— Жаль парня... из одной деревни мы... — откликнулся другой голос: — Жена у него да двое ребятенков... Не сдобровать, коль попал не на отсидку в холодную, а в ихние больничные руки...

— А может и сдобрует!.. Доживет!! — с угрозой прозвучало из угла. — Ах, чтоб вам... — посыпались отборные проклятия.

Татьяна Емельяновна смотрела в темноту. Наискосок от нее на бункере шевелились пальцы, творя крестное знамение около белевшей головы. Сосед, кандидат на полную потерю сил, пошептал молитвы, покряхтел

и запечатлел все происшедшее одним только выразительным словом — "Нехристи!"

Между тем Генрих Клингерман, обойдя лагерь на три тысячи человек, сделав несколько замечаний персоналу, сплошь состоявшему из рослых, мордастых мужчин различных народностей, населявших СССР, и выделенных за свою исполнительность перед властью, какого рода приказания им бы ни отдавались, вошел в свою канцелярию и остановился перед письменным столом, на котором лежал пучек газет и еще не прочитанной корреспонденции. За день он тоже устал и знал, что ему предстоит еще несколько часов работы.

Убежденный рядовой член партии национал-социалистов он чувствовал, как девятый вал истории повернул свой разбег и покатился вспять вместе с отступающей немецкой армией. На его ответственности был рабочий лагерь — столько-то человеческих сил в сутки, — и он должен был выжать их во что бы то ни стало всеми доступными средствами, а в средствах его никто не стеснял. В его власти были люди низшей расы, как объясняли лежавшие перед ним газеты и распоряжения высших инстанций: навоз, на котором должно было вырасти благосостояние его родины. О благосостоянии, правда, уже не приходилось думать в данный момент. На очереди стоял вопрос о спасении!.. И если он, Генрих Клингерман, бьет сапогом по коленкам тех, кто теряет минуты нужного для его собственного народа труда, то он прав — он показывает пример остальным. Никаких сентиментальностей! Одни рождены быть господами, а другие рабами. Как хорошо, что мир устроен так просто!..

Он вспомнил испуганные и словно упрекающие расширенные женские глаза. Они его раздражали не в первый раз. Он запомнил эту женщину из второго барака и даже ее имя: Татьяна. Уже не раз ему удавалось найти предлог, чтобы наказать ее и ее мужа. В единоборство с ним он, дважды раненый, не вступил бы на открытом месте: средний рост при широченных плечах предвещал медвежью силу. Пусть терпят: они в его

власти, а не он в их. Власть дается избранному народу...

Генрих Клингерман посмотрел в стенное зеркало. В нем отразились: продолговатая голова норманской расы, румяные плоские щеки, прямой нос и резко вычерченный рот над тяжелым выхоленным подбородком. Большие голубые глаза окаймлены были красноватыми веками, набухшими от недостатка сна и излишка крепких напитков. Он остался доволен собою, но в холодном взгляде таилась и скрытая тревога — линия фронта на востоке уже совпадала с германской границей...

Клингерман грузно опустился на стул, вынул из ящика полбутылки коньяка и серебряный стаканчик, привезенный в прошлом году из Крыма... Мысли его разбегались, а когда снова сосредоточились, совершенно неожиданно в мозгу встало воспоминание из отроческих лет: летний пансион на гористом берегу реки; теннисная площадка, и он сам среди группы молодежи. Все столпились вокруг лежавшего на земле только что убитого им крота. Серенькое животное было окровавлено, и кровь его покрывала середину ракетки. Самая задорная из девочек насмешливая Эльза сказала: "Если у тебя, Генри, такой сильный характер, как ты нам рассказываешь, оближи ракетку!" Ему было тошно, но он облизал...

Лагерфюрер налил и выпил второй стаканчик. "Воспоминания могут принимать иногда совсем нелепый характер", подумал он.



Весною 1945 года лавина беженцев бросилась из Восточной Австрии и Чехии навстречу приближавшимся американцам. По быстро сложившемуся убеждению, лучше было попасть в их руки, а не других союзников. За спиною быстрыми маршами двигалась Красная армия.

В одном из последних поездов, до отказа переполненных измученными страхом людьми, прибыли в бе-

зопасную зону и супруги Житенко. Дочка их, успевшая выйти замуж, была где-то на Западе. Куда именно ехали, какое будущее их ожидало — об этом не думалось; надо было уходить, куда глаза глядят. Если бы не дочь, может быть и остались бы... Слышал, однако, Степан, что в Кремле не прощают знакомства с жизней за границей.

Прошло месяца три с тех пор, как Житенко натолкнулись на полупустой барачек всего из десяти комнат. Оставшиеся после войны несколько венгров-мастеров были отправлены на родину, а барак заполнился всем тем людом, который попал под кличку "перемещенных лиц", т. е. тех, кто во время войны волею судеб покинул свой дом и перешел на чужую землю.

Степан то работал у крестьян, то грузил на железнодорожной станции; Татьяна управлялась дома в доставшейся им комнатке — 4 шага в длину и в ширину. Тут у нее стояла широкая кровать, покрытая выданным УНРР-ой темносиним жестким одеялом с грудой цветных ситцевых подушек, белый некрашенный столик с двумя тумбочками, печка-колонка, на которой можно было скипятить чайник, и, наконец, поставленный стоймя ящик с настоящей драгоценностью — керосиновой лампой-машинкой для варки пищи. Ради безопасности лежал под ней зеленоватый металлический лист, вырезанный из стенки подбитого в лесу автомобиля. Из разных источников собраны были котелки военного времени с крышками, игравшими роль сковородок, фляжки с вырезанными чужими именами, и приобретен в обмен на чудом доставшуюся пару чулок эмалированный котелок для супа. Над всем этим зажиточным благополучием в углу на самодельной полочке стоял образок Божией Матери в рамке из синего картона с золотым ободком. По праздникам перед ним прикреплялась свеча, принесенная из церкви.

Жить стало возможно. Вздохнули люди, перенесшие беды жестокого плена. Барачек попал под опеку международной организации. Появился и черный, и белый хлеб на столе. Уже не голодали и не холодали, постепенно обживались и втягивались в круг крошеч-

ного городка, приютившегося на берегу синего-синего горного озера.

— Степан, Степа, — говаривала Татьяна Емельяновна, хватая мужа за руку повыше локтя: — Да ты погляди на эту бирюзовую воду да на эти горы... Думали ли мы, что Бог приведет нас в такую красу? Ты уйдешь на работу, а я верчусь по комнате за тем, за другим да остановлюсь: "Что ж это такое? Аль во сне, аль наяву?.."

Было у них одно неизбывное горе: потерян был след дочери Клавдии. Как только начиналась служба в наскоро налаженной церкви, надевала Татьяна Емельяновна темненький платочек на голову и шла молиться. Пела вместе с хором и прихожанами знакомые молитвы: "Отче наш" да "Царю Небесный", "Достойно есть", и каждый раз все понятнее и глубже становились для нее моления на славянском языке. Казалось, ненадобно никаких других молитв, кроме этих. Они охватывают все: и нашу жизнь, и жизнь всего видимого мира. Не умела Татьяна Емельяновна выразить собственными словами то расширяющее грудь чувство радости и благодарности, с каким она выходила из дверей скромнейшего из скромных храма, устроенного в двух смежных комнатах барака. Верила, что Светлые Силы сохранят ее Клаву до встречи... Только где и когда будет эта встреча? Потерялись... Вопрос заканчивался тихим вздохом: "Как Бог даст!"

Однажды перед вечером пошла она встречать мужа, возвращавшегося с работы. На дороге, у полуразвалившихся стен большого склада, который только что начали восстанавливать, присела группа немецких пленных.

— Эти из лагеря эс-эсовцев, — сказал Степан Иванович, всматриваясь в суровые исхудалые лица солдат нацистской гвардии. Жители городка спешно проходили мимо, чтобы американские караульные не заподозрили их в сношениях с пленными. Кое-кто из эс-эсовцев провожал их недоброй усмешкой в глядящих исподлобья глазах: "Если бы вы раньше посмели... ах, не попали вы в наши руки!.."

Русские шли молча. Вставали в памяти страницы обид, горя...

Но по славянскому свойству — никогда не бить лежачего — в них закрадывалась своеобразная жалость: "Вот до какой степени может быть унижен самый гордый человек"...

Недавние "бронзовые" люди, лишенные всякого чувства гуманности; победители под Парижем, Дюнкирхеном, Варшавой и Белградом; видевшие острова Средиземного моря с поднятым флагом свастики и берега Северной Африки; безжалостно и круто захватывавшие тысячи километров российской территории и мужественно покрывавшие отступление немецкой армии в ее трагические моменты, теперь в пыли и прахе развалин и разбитых дерзаний складывали кирпич к кирпичу.

По два, три человека они сидели около дороги, пока не подъедет очередной грузовик, чтобы отправить их в лагерь за позорную проволоку поражения.

— Живы, а уже уничтожены, — как-то неясно выразился Степан Иванович. "Глянька, Татьяна",.. он не договорил. При слове "Татьяна" рослый человек в обносках военной формы быстро обернулся. Только по глазам можно было узнать Генриха Клигермана. Все лицо его сложилось, словно гармоника; глубокие складки обозначились около рта и на щеках, заросших густой рыжеватой щетиной. Он увидал и женщину, и ее мужа и, как это ни странно, обрадовался знакомым лицам, как будто в прошлом их связывала незримая ниточка. Он сделал невольный жест — хотел поднять руку в виде приветствия, но во-время опомнился, рука повисла. Улыбка, блеснувшая в глазах, погасла, вспомнил, что ниточка-то была черненькая... Отвернулся, прислонившись к дереву.

Татьяна Емельяновна заторопилась, чтобы поскорее миновать эту группу зачумленных... До самого дома Житенко не проронили ни слова. Каждый из них наново переживал собственный плен, лагерь, голод, непосильный труд, издевательства...

— А как его доконало! Не то болен, не то ранен был?.. Пожалуй, долго и не протянет... Вот тебе и переменная планида!.. — Степан покрутил головой.

Жена подогревала в котелке гороховую похлебку. Она, видимо, не расположена была разговаривать. Молча положила на стол ложки, нарезанный хлеб; двигалась угловато, неловко, смотря широко раскрытыми и невидящими серыми глазами. Скоблила ее совесть, что не ответила отверженному на его улыбку. Давно уже научилась понимать чужую боль. Присела, задумалась.

— Да что с тобой приключилось? — с досадой спросил Степан: — И ложка из рук валится?!

— Нехорошо, ах, нехорошо, — жена подперла рукой голову: — Верно говоришь, что еда в рот нейдет. Все всколыхнулось... — И вдруг без всякой связи зашептала: — Завтра суббота, испеку-ка я булочку белую, встану пораньше...

Вскочила, захлопотала, затопалась по комнате, открывая на ночь высокую постель.

Прошло с полгода. Степан Иванович только что вернулся с работы у хуторянина и поставил около печки насквозь промокшие ботинки; Татьяна Емельяновна собирала на стол, покрытый листом чистой бумаги. В окно глядели зимние сумерки, дождливо-холодные, неприветливые, как большинство дней в этой плаксивой межгорной стороне. Потрескивали дрова в печурке. Начинался тихий домашний вечер.

— Добрый хозяин и собаку не выгонит в такую погоду, — начал было Степан и остановился: — Никак кто-то стучит? Не сосед ли опять за топором пришел одолжаться? Нашел время дрова рубить... — Он поднялся и сделал несколько шагов к двери. Стук повторился, на этот раз более настойчивый. Татьяна Емельяновна оглянулась и почти бросила на стол сковороду с горячей картошкой. В дверях стоял высокий человек с дорожным мешком за спиною. Степан не узнал его сразу. Незнакомец шагнул в комнату и со всего размаха упал на колени перед замершей в своем

смятении женщиной. Его широкие плечи затряслись от рыданий:

— Святая... Русская... Если бы не ты, я бы сдох от голода после болезни! Трое моих детей... Я им прикажу молиться за тебя! Татьяна, прости меня, я был зверем... Я думал: так надо... все только для своего народа..

Степан пристально смотрел на свою жену Ему стало ясно теперь, к какой больной подружке она ходила с кульком, завязанным в платочке; для кого был припрятан то кусок хлеба, то котелок со щами. И на душе у него становилось все теплей и теплей, пока две незваные слезинки не задрожали в карых глазах. Плакала и женщина, часто мигая ресницами:

— Ну, что вы... да я — ничего... каждый бы сделал то же. Перестаньте, Генрих, как вас по отчеству и до сих пор не знаю...

Степан вздохнул, широко улыбнулся и хлопнул по плечу своего бывшего Лагерфюрера:

— Вот что, Генрих, вставай, да откушаем с нами. Ишь как разрюмился... Значит, в каждом человеке душа есть... Да рассказывай, что и как?

Беседа за столом шла на удивительном русско-немецком языке: " Вир-гут, а ты как? Ван тебя отпустили нах хаузе? Хаст брифы от фрау?.."

Проводили гостя к последнему вечернему поезду. А когда вернулись домой, Степан крепко обнял свою Татьяну с глазами более глубокими, чем горное озеро.

ЧУЖОЙ РЕБЕНОК

На лагерь Ди-Пи, расположенный около одного из крупных городов Австрии, спускались ранние зимние сумерки. Димитрий Михайлович Долинов сидел на нижней койке деревянного "бункера", заложив палец в полузакрытую книгу, и продолжал размышлять на свою излюбленную тему, что причиной всех причин в кровавой неразберихе XX столетия является "порча человека".

Он с грустью посмотрел на два окурка американских папирос "Кемел" в стеклянном блюдечке, заменявшем пепельницу, всосал в себя воздух и громко сказал: "Баста. До ужина больше ни одной не получишь!"

В дверь кто-то осторожно постучал.

— Кто там?

Тоненький женский голос спросил: — Здесь живет инженер Игнатенко?

Димитрий Михайлович быстро осмотрел самого себя, достаточно ли он приличен, сунул подушку в не совсем чистой наволочке под синее военное одеяло и сделал два шага к двери.

В коридоре стояла с немного испуганным выражением лица прехорошенькая высокая брюнетка лет 23 в темном драповом пальто и сером берете, какие носят и девочки-подростки.

— Инженер Игнатенко действительно здесь живет. Он — мой коллега по комнате и вскоре вернется из лагерных мастерских. Если хотите его подождать, войдите, пожалуйста, в нашу берлогу.

Женщина заколебалась, внезапно улыбнулась не то виновато, не то просительно и, убедившись, что перед ней находится вполне приятный пожилой человек с аккуратной седеющей бородкой и теплой усмешкой в глазах, — правда, несколько странно одетый во все узкое, с чужого плеча, — перешагнула порог. Долинов поторопился подать ей один из двух стульев у столика, прислоненного к окну. Широким жестом он описал полукруг, едва не задев стоявшую на двух сложенных ящиках керосиновую машинку и, глядя сверху вниз на

незнакомку ("Она безусловно не из нашего лагеря... Где Николай успел с ней познакомиться? Недаром ездит в город..."), снисходительно спросил: — Как вам нравятся наши апартаменты? Редко кто в лагере удостаивается отдельной комнаты на двоих! Но мой сожитель у нас большой человек — заведует переделкой и починкой бараков!.. А я при нем, так сказать... Мы еще во время странствия из Вены нашли друг друга... так и держимся.. Разрешите представиться: Димитрий Михайлович Долинов, бывший помещик, бывший доброволец, бывший студент Пражского университета, а ныне разносчик газет...

Долинов почему-то с первого момента, как только увидел открытые карые глаза и припухший заячий ротик, решил, что молодой женщине нужно покровительствовать: "Что-то в ней есть обескураживающее", — подумал он: "даже милое... Это не искательница приключений... Нет!" Он сел на старое свое место на бункере и вытянул ноги до половины комнаты.

— У вас даже скатерть есть на столике... Все так аккуратно! — сказала гостья, медленно оглядывая "берлогу", и остановилась взглядом на небольшом образке Николая Угодника, висевшем в углу над верхней койкой бункера, где, очевидно, спал Игнатенко.

— Стараемся, как можем... У нас под окном и огородик был летом, редиску ели собственную... А огурцы посадили, так только три показалось на свет, да и те погибли в самом раннем возрасте, попросту говоря, сгнили, — очень уж климат сырой, дожди погубили...

— Много читаете? — показала она глазами на валявшуюся на одеяле книгу.

— Да. За мемуарами гоняюсь, сравниваю, обдумываю, почему и как произошла революция... обе войны... и как мы с вами, словно осенние листья на ветру, докатились до прекрасных Австрийских Альп!

Помолчали. Трудно было продолжать разговор от того множества вопросов, которые сразу накопились у каждого из них: у нее — потому что пришла она по

очень серьезному делу, а у него от любопытства, развившегося от лагерного полубезделья.

— Почему бы вам не снять пальто? — любезно предложил Долинов: — У нас, кажется, не холодно, я сам зябкий. Да сейчас и подброшу пару полешек в нашу печурку. Скоро и Николай Андреевич появится. Приходит он обычно усталый. Разрешите узнать ваше имя-отчество?

— Елена Павловна... А как здоровье Николая Андреевича?.. Не кашляет? — встрепенулась незнакомка: — Я, пожалуй, сниму пальто...

— Это у него недели две тому назад маленький гриппик был... Давно прошел. А вы его после этого не видели? — Димитрий Павлович вполне галантно, как в "доброе старое время", помог даме стянуть далеко не модное, вытертое на рукавах пальто.

— Нет, не видела, — тяжело, с оттенком горечи проронила она и внезапно, стоя отвернувшись и укладывая пальто на спинку стула, не выдержала: — А он... Николай... Андреевич... еще одинок?..

"Фу, не ожидал!" подумал Долинов: "не ожидал, что она так аляповато поднимет вопрос... Личико тоненькое, как из фарфора, носик с горбинкой... Впрочем, каждую женщину прежде всего интересует, не женат ли мужчина и не попадет ли она в капкан,.. а каждого мужчину — свободна ли женщина... Однако, я перехватил. Бывают и другие встречи, бескорыстные, так сказать... Вот, например, как я ею любуюсь..." Немного рассердившись за испытанное разочарование, он грубовато спросил: — Как вы нас нашли? Николай Андреевич сам вам дал свой адрес, или вы в канцелярии осведомлялись?

— Мне моя мама через знакомых узнала. Я не решалась... Может быть, в самом деле лучше будет, если я уйду?.. — Она вдруг вся увяла, побледнела, но справившись с волнением, решила настаивать: — Вы мне не ответили на мой вопрос, Димитрий Михайлович.

— Вас интересует матримониальное положение

инженера Игнатенко?.. Так могу вам сказать, что он разведенный...

— Разве-денный?? — молодая женщина приподнялась и снова села: — Вы это знаете наверное?

— Безусловно. Он сам мне сказал. Его брак был чрезвычайно неудачен...

— Чем же? — тихо и почти безразлично спросила Елена Павловна.

— Чем? Довольно обычная история в наше испорченное время... (Долинов почувствовал, что может сесть на своего любимого конька). Так вот женился наш Николай Андреевич на совсем молоденькой очаровательной девушке с глазками, как вишни... За год до свадьбы она окончила институт; из хорошей семьи, жила с матерью, обе давали уроки французского и немецкого языков... Скромная, трудящаяся девушка... Чего же лучше? Влюблен был по уши... Все складывалось прекрасно, если не считать войны и немецкой оккупации в Югославии...

— Войны и немецкой оккупации... — почти беззвучно повторила неожиданная гостья.

— Вот я и говорю... Любили друг друга, строили свое гнездо... Может быть, в мирное время эта молодая женщина нашла бы свой правильный путь в жизни, поборола бы скверное институтское воспитание...

— Что?!

— Я говорю — искусственное и неумелое воспитание... при помощи случайно подобранных классных дам, которые раньше никогда педагогической деятельностью не занимались...

— Откуда же они брались?

— А так: просто шла себе по улице дама средних лет в старом английском костюме и встретила знакомую по Петербургу: — "Ах, Зизи Васильевна, вас ли я вижу?.. Помните, мы встречались с вами у княгини Турханской и у Дурурукиных? Конечно, вы могли меня не узнать в таком скромном виде!.. Я сейчас служу в институте преподавательницей французского языка..." — "Ах, ма шери, но ведь это же чудно! А я без

места...“ — ”О, мы вас моментально устроим. С вашей фамилией, с вашими манерами... Немедленно подавайте прошение, и вы будете у нас классной дамой...“ Что, не правда?

Гостья слабо улыбнулась: — Действительно, нам в институте старались привить хорошие манеры... Что же тут плохого?

— Гм... и вы тоже институтка?.. Жаль... — Долинов на момент замялся, но потом с новой силой бросился в атаку: — А вам, девочкам, не рассказывали эти бывшие дамы большого света о пышных петербургских балах?.. О нарядах из Парижа?.. О собственных рысаках? Виллах в Ницце?.. Не развивали вредную мечтательность о несбыточном?.. А вы не прятали под матрацами глупейших французских романов, наполненных любовниками, испанскими страстями?.. Да и свои Вербицкие и Нагродские помогали... А жизнь в Белграде ждала суровая, динары приходилось очень и очень считать...

— И что же? — спросила Елена Павловна, полузакрыв глаза, как от резкого света.

— А то, что не прошло и двух лет брака, как она соскучилась и пока он был в отъезде ему изменила... В самый тяжелый момент ,когда нужно было эвакуироваться из Югославии, он остался один. Казалось бы: и молодой, и привлекательной наружности, и хорошо зарабатывал, старался — все для нее, для своей Линочки... Чего бы ей желать? Так нет же — свихнулась...

— Какое это имя — Лина?

— Опять-таки глупое, институтское имя... Тина, Мина, Лина, Дина... Если я все это вам рассказываю, так потому, что очень ценю Николая Андреевича. — Долинов посмотрел на часы: — Ну вот он сейчас и появится... — и стал снимать с вешалки на двери теплую куртку: — Я вас оставлю вдвоем, разумеется. Ведь вы к нему по личному делу, конечно?

— Очень...

— Лицо у вас славное, иначе я бы и не говорил... Вы мне как-то сразу стали симпатичны. А если молоденькая женщина сама приходит, разыскивает в лагере

своего знакомого, да еще по совету своей мамаши, так это, очевидно, что-нибудь да значит! Простите меня за откровенность.

У гостьи дрогнули ресницы, и она заговорила словно другим, более уверенным и в то же время более мягким голосом: — И я хочу быть с вами откровенной. Может быть, вы мне поможете кое-что выяснить... Не стану скрывать: конечно, я заинтересована Николаем Андреевичем и совершенно естественно хотела бы знать о нем как можно больше... Где и когда он развелся? Ведь вы только что сказали, что расстался он с женой перед самым своим отъездом в Вену... Когда успел?.. Или они просто разошлись?.. Если развелись, то она добровольно дала ему развод, или он что-нибудь доказывал?.. Какую причину выставил?...

— Вот уж не могу вам сказать точно... Только причину знаю — ч у ж о й р е б е н о к! Сама ему созналась .. и так этим предполагаемым ребенком дорожила, что наотрез отказалась прибегнуть к немедленной медицинской помощи. А это был единственный выход из положения — собираться и ехать надо было экстренно, рискуя, что поезд будет обстрелян, сброшен с рельс, — тут уж нечего было думать о беременности на втором месяце... Вообще меня всегда поражает, как женщины любят рожать...

— А разве аборт это нравственный поступок? — довольно ехидно сощурилась Елена Павловна. Ее собеседник немного растерялся, не найдя сразу слов для отповеди, а затем развел руками: — Вот и поговори с женщинами... У них всегда своя логика...

— Совсем не похожая на вашу мужскую, — медленно добавила гостья, и злые огоньки блеснули в ее глазах. Настороженным слухом она уловила шорох за дверью и повернулась к окну.

На пороге стоял инженер Игнатенко, человек лет 35, белокурый, с немного укороченным носом, какие бывают у вспыльчивых и запальчивых людей, и с двумя характерными родинками — над виском и над верхней губой. Он с недоумением смотрел на происходившую в комнате сцену. Меньше всего он ожидал увидеть

своего друга в обществе молодой женщины в густых сумерках да еще во время какого-то горячего объяснения, о чем свидетельствовали и растерянное выражение лица вскочившего на ноги Долинова и ее поза.

— Я, кажется, не во-время?..

— Нет, нет, наоборот! Я только тебя и ждал, Коля! — обрадовался Димитрий Михайлович и, схватив свою куртку под мышку, без дальнейших объяснений выскочил в коридор: "Пусть сами разбираются! Бедовая бабенка, как она меня поймала на слове?.. Выходит так, что я проповедую безнравственность?!.. Бедовая!.. Такая его еще на себе и женит..."

Очутившись посреди крохотной комнатки, Игнатенко оказался непосредственно за спиной молча и неподвижно сидевшей неожиданной посетительницы. Она застыла у столика, опустив голову на руку. По очертаниям плеч и спины он видел, что она молода и чем-то потрясена, удручена или так застенчива, что не хочет, чтобы он увидел ее лицо, запомнил, а, может быть, и узнал. "Что за притча?" — подумал Игнатенко, невольно усмехнувшись, и вежливо спросил:

— Чем я могу вам служить? Хотите, чтобы я проводил вас до трамвая?

— Ннет! — прозвучало сквозь зубы, мгновенно резнув и напомнив другой момент, другую сцену, когда его собственная жена так же упрямо на все его доводы отвечала "Ннет!"

— Лина!.. Я не ожидал...

Молодая женщина вскочила, развернувшись, как пружина, и, глядя в упор в лицо своего бывшего мужа, быстро заговорила, зашептала сдавленным от волнения голосом: — Да, вы не ожидали видеть меня, Николай Андреевич?.. Конечно, после такого бесчестного поступка...

— Лина! Что ты говоришь?.. Это с моей-то стороны?!

— Молчите! Как могли вы развестись за глаза без моего согласия?! Если бы не мама, которая требует, чтобы я с вами объяснилась, меня бы здесь не было или я бы убежала, узнав о разводе, еще до вашего при-

хода... Но раз я осталась, так отвечайте! Покажите мне бумагу!

— Какую бумагу, Лина?

— Я вам больше не Лина! Я хочу видеть бумагу о разводе...

— О, Господи!.. Хорошо, Елена Павловна! Прошу вас сядьте, поговорим, как люди... Вы очень переменились... раньше вы были сдержаннее... — Сам он мешковато опустился на край кровати.

— Вам, конечно, безразлично, сколько мы вытерпели с мамой?! Как мы бежали? Что испытали?.. Если бы не нашлись добрые люди, так мы бы погибли... все, все погибли...

Елена Павловна так же быстро села, как раньше вскочила, и на момент изсякла, только губы продолжали дрожать. Николай Андреевич с болью смотрел в ее взволнованное лицо с широко раскрытыми негодующими глазами и думал, как он раньше любил ее в этой ее возмущенной искренности и даже позволял себе умышленно выводить ее из себя, чтобы попасть под сноп гневных искорок, а потом крепко прижать к своей груди, успокаивая словно маленькую... "Ты нарочно раздражаешь меня, как налима, чтобы у меня распухла печенка..." — говорила она, умиротворяясь, но еще дуясь и стараясь сдержать дуновение невольного смеха... Два года почти безоблачной семейной жизни в трудное время войны и немецкой оккупации! Облака и тучи были только извне, а в небольшой квартире в конце Милоша Великого улицы было и неголодно, и уютно... Он работал за двоих; он, рискуя быть арестованным или избитым, ездил по селам менять вещи на продукты; на рассвете подкарауливал крестьянские возы со связками мелко наколотых дров для печурок военного времени... Чего он ни делал?! И, наконец, за несколько месяцев до эвакуации отвез жену и тещу в "Преко", т. е. на другую сторону Дуная, где в богатых полунемецких селах не знали нужды ни в продуктах, ни в топливе... Сам он мог приезжать к семье не чаще двух раз в месяц... И вот тут-то и случилось... Заскучала ли она? Мать ли нашла для нее более выгод-

ную партию? (Он не любил своей тещи, женщины с мужским решительным характером) ... Мгновенно встала перед ним сцена их последнего бурного разговора, разбросавшего в разные стороны на два года полного отчуждения, полной неизвестности...

Он приехал домой из Белграда с дурными вестями; жена пожаловалась на легкое нездоровье, он не обратил особенного внимания и взволнованно стал говорить: полукольцо советской армии и титовцев упорно наступает на столицу. Надо ловить момент и возможность бежать в Австрию, или будет поздно... Первые транспорты беженцев уже ушли... Он с большим трудом выхлопотал, подготовил отъезд... Часть вещей придется бросить, она должна в течение недели уложиться, кое-что продать, быть готовой... На человека позволяют брать не больше двух чемоданов... Только когда он выбросил весь багаж тяготивших его забот, он понял, что с женою действительно что-то неладно: она была бледна, встревожена и, затаившись на первые четверть часа, внезапно прильнула к его плечу: — Как это все ужасно!.. Я не так думала сказать тебе об этом. — О чем, дорогая? — Случилось то, чего мы оба так хотели, — у нас будет бэби... Ты все-таки можешь радоваться? — и она подняла на него беспомощные, ожидающие ласковых слов глаза. Он до сих пор помнит, как его потрясло неожиданное известие — резнула боль и в то же время неминуемая решимость — "Невозможно!" Прижав ее к себе, он покрыл ее лицо поцелуями, нежно прижал к щеке ее пальцы: — Лина, родная, прости... но сейчас немыслимо думать о ребенке... Как ты поедешь в таком состоянии?!.. Нельзя терять ни одного дня.. Завтра я возьму тебя с собой в Белград, и тебе сделают маленькую операцию. — "Ннет!" — отшатнулась от него жена: — Я не согласна!" Сначала он просил, умолял во имя собственного ее спасения; убеждал, что ребенок, мать которого будет подвергаться всем военным опасностям, может родиться ненормальным, уродом, — ничего не помогало. Лина твердила свое. Чтоб напугать ее, он крикнул: "Берегись!.. Уеду один, делай

потом, что хочешь!“ и опять — ”Ннет!“ Не помня себя, он схватил жену за плечи: ”Лина, не доводи до катастрофы!.. Мы не знаем, куда мы попадем, не знаем, что нас ожидает...“, но сна вырвалась из его рук и, сразу став чужой, холодной, может быть ненавидящей, бросила ему в лицо: ”Перестаньте волноваться... Уходите! Уезжайте! Оставьте меня в покое... Это не ваш ребенок...“

Был град взаимных упреков и обвинений, как будто и счастливы никогда не были. Они расстались. Он уехал за границу раньше, чем думал. Унес с собою горчайшую обиду и уколы ревности: кто был тот, третий? Местный врач-серб, адвокат или вернее всего немецкий офицер, самоуверенный и покровительствующий?

С быстротою сна все вспомнилось в течение одной минуты. А сейчас та же Лина, но как-то изменившаяся, возмужавшая — он не узнал очерка ее фигуры на фоне полутемного окна — сидит на стуле рядом с ним и, вероятно, тоже переживает часы, предшествовавшие разрыву... На него смотрят два темных глаза со странным, смешанным выражением и словно так, как бывало у них после ссоры, когда враждебность начинает иссякать, повеяло неуловимым теплом. Когда-то это была его жена. ”Черные вишни“ хотят плакать“, подумал Николай: ”она, очевидно, потерпела крушение... Так и надо было ожидать... Тот, кто стал между ними, или остался в Югославии, или убит, или просто бросил ее... развод ей не нужен больше... Зачем ко мне пришла?!“

Он встал и зажег электрическую лампочку у потолка: ”Как побледнела! Где ее яркие молодые краски?... На ней старая знакомая шерстяная блузка; пальто, которое сам я купил ей в первый год брака... 4 года прошло... Да, несомненно, жестоко наказана... Что же ей сказать?“

Само сказалось: ”Елена Павловна, я хотел знать... (в уме он добавил, чем кончилась ваша любовная история). Я вас разыскивал всюду — сначала в Вене, в Граце, после войны по лагерям... Где же вы были?.. И, простите, с кем?

— С мамой, конечно!.. Мы были около Монзее, в деревушке, в горах... Скажите, зачем вы меня искали? Вам нужен был развод?

— Чтобы выяснить, чтобы оформить наши отношения... И так вообще... я боялся за вас! — Последнюю фразу он сказал твердо.

— Боялись за меня? А бросили, как последнюю перчатку! Безжалостно!.. Как только мужчины-эгоисты умеют делать...

— Лина, что ты городишь? Вспомни ту дикую сцену, которую ты мне устроила, когда я осмелился сказать, что в момент эвакуации Белграда думать о том, чтоб заводить ребенка, немыслимо?.. Я тебя просил, урезонивал; ты твердила свое "ннет!" и ревела белугой...

— Я была права!..

— Если бы я тебя не знал, я бы сказал, что это нахальство! Просто непостижимо!.. — Николай Андреевич вынул пачку папирос из кармана, вытащил одну и хотел закурить, но от досады сломал ее и кинул в угол комнаты.

— Женщина имеет право иметь ребенка при каких угодно обстоятельствах.

— От чужого типа? И преподнести его своему мужу?... А тот, дурак, будет бегать вокруг нее и прислуживать?.. Так вам, повидимому, представляется?.. Вам и вашей мамаше...

— Не трогайте мою маму! Вы можете быть грубы со мной, но ее не трогайте!

— Это еще почему?

— Потому что она все вынесла на своих плечах — ужаснейшее бегство, мою болезнь, рождение сына... Она работала в поле, на огородах у крестьян...

— А... у вас сын?.. А ..

Бывший муж почувствовал, как волна зависти и бешенства приливает к его голове: этот сын мог бы быть его сыном!..

— Зачем вы, собственно, пришли ко мне сегодня, позвольте спросить?!

— Чтобы выяснить, чтобы оформить наши отношения, — передразнила его Елена: — и, может быть, чтобы в последний раз посмотреть на вас и убедиться, что вы за человек...

— Вот именно! Я вас не узнаю... Я женился на скромной, милой институтке, а вы...

— Договаривайте! Я не боюсь...

— Вижу. Вы стали... самоуверенной, дерзкой самкой... — выдохнул Николай и уже не знал, что еще можно сказать более обидного. Кровь стучала в висках.

— Я дала бы вам пощечину, если бы вы не были таким идиотом!! — немедленно ответила Елена деланно спокойным тоном, хотя ее трепала внутренняя нервная дрожь. Ей предстояло сделать очень решительный шаг. Она должна была, должна была... Открыв сумочку, она вытащила из нее фотографическую карточку и бросила ему на колени:

— Это *м о й* сын. Как он вам нравится?.. — с пугливой гордостью добавила она.

— Ах, сын...

— Да. Сын!

У Николая дрогнули мускулы лица: — Это невозможно... Что же это такое?...

На фотографии изображен был лежащий на простынке беленький мальчишка с двумя характерными пятнами родинок — на виске и над верхней губой.

— Но ведь это же и *м о й* сын? — совсем робко прозвучал голос мужчины. И тут же, торопясь: — Надеюсь, он носит мою фамилию?

— Какое вам дело, если мы разведены? Павлик принадлежит мне и моей маме. Мы его выстрадали.

— Ты не имеешь права!.. Мы никогда разведены не были... Я никогда не переставал думать о тебе... и мучиться .. и горевать... даже жалеть тебя, что ты по своей неопытности связала свою жизнь с каким-то прохвостом

— Если мы никогда разведены не были, так я тебе теперь скажу, что и прохвоста никогда не существовало!

— Не было?... Удивительное дело! Ты же мне сама созналась в своем увлечении... Ты мне крикнула, что ребенок не мой, а чужой... Ч у ж о й ребенок!.. и что я ни на чем не смею настаивать, не смею вмешиваться в твою жизнь... Так это было или не так?

— У меня не было другого выхода, чтобы спасти ребенка... Я его уже любила...

Николай Андреевич смотрел на жену ошеломленный: вся черная постройка его мыслей, терзавших в течение двух лет, рассыпалась словно пепел,и перед ним сидела жестоко им обиженная героическая женщина... "А Павлик?.. А беленький мальчик, лежавший на животике, выгнув спинку?!.. Его могло и не быть... Он мог и не родиться... какой ужас!.."

— О, Господи! — вскрикнул Николай, падая перед женой на колени:

— Лина, Линушечка! Ты удивительная женщина... Чего же ты плачешь, родная?.. Прости, прости... ну, прости...

Он беспорядочно целовал то ее маленькие загрубевшие руки, то плечи под знакомой мягкой материей ~~так было ясно, что я — все нарочно.~~

— Я... я плачу потому, что ты... не понял!.. А так было ясно, что я — все нарочно.

— Понял, понял! Самое главное понял — нас теперь т р о е! .

САМОВАР ИВАНОВИЧ

(Краткая биография)

Он родился на Тульском заводе. Его упаковали вместе с братьями и отправили в Москву. Блистающий юной медной красотой он постоял короткое время на массивной полке магазина и был продан барыне, уезжавшей на дачу в один из подмосковных поселков.

Вот тут-то и началась для моего самовара настоящая жизнь, о которой он никогда не мог позабыть!

С самого утра он чувствовал себя главным действующим лицом во всем доме. К нему, едва проснувшись, с еще заспанной пухлой розовой щекой, разогретой от июньской подушки, бежала горничная Дуняша и начинала энергично трясти, выколачивая вчерашние угольки. Она сладко зевала и перекликалась с дородной Пелагеей Ивановной, кухаркой за повара. Сны обеим снились нехорошие. И сны, и приметы — все предвещало беду: то все передние зубы с кровью выпадали, то садились они есть-пировать за стол, полный кушаний, но на грязной-прегрязной скатерти... Снились и косы — длинные дороги — самой барыне.

Любил Самовар Иванович подражать проходившему мимо поезду, когда его ставили на стол. Уж он шипел и пыхтел изо всех сил!.. И слушал во все свои самоварные уши.

Вздыхала барыня, а детки кушали и перешептывались. Старшенькому, Сереже, хотелось из кадетского корпуса на войну в полк удрать, да боялся, что вернут с позором или прямо к отцу-капитану доставят. Младший, Митенька, срывался из-за стола и бежал к самому полотну железной дороги смотреть, как проходит длинный воинский поезд. В открытые двери красных вагонов видны были лошади, и неслась долгой лентой лихая казачья песня, путаясь в хвойной прохладе обступившего железнодорожное полотно леса...

После завтрака опять пожалуйте на стол; и в 5 часов, и в 8 после ужина — все та же история. Ни скушать, ни поговорить по душам никто без самовара не

умел. Понимал Самовар Иванович, что роль его велика, что он не только кормит, но и душу успокаивает. А тревоги в окружающих его человеческих душах было сколько угодно. Шла ненужная, опасная война, потрясала государство, в котором не все было в порядке, приближалась революция...

Уже давно с дачи переехали в город, в один из извилистых московских переулков, и такая тут началась для Самовара Ивановича работа, что он со стола почти и не сходил. Народу в дом приходило пропасть; шли люди со своими вестями и бедами поделиться за чашкою чая... От постоянного что ли лицезрения наш Самовар влюбился в фарфоровую белую с розовым пояском сахарницу!..

Но тут нахлынули события. Чего только в доме ни случалось!.. Понял Самовар Иванович, что старая жизнь кончилась, когда разлучили его с миленькой возлюбленной и увезли, грубо заткнув в большую корзину со множеством невежественных вещей, вроде ватных одеял. Увезли куда-то на юг, в большой неуютный город с плохими помещениями, с кухней, где он должен был стоять на одном столе со старым эмалированным чайником, а на тарелке валялись обрезки колбасы и рядом с нею недогрызенный, но сбереженный кусочек сахара.

Однако, бывали и большие радости. Вот, например, когда Сереженька, ставший прапорщиком, возвращался домой, в Ростов-на-Дону, на короткую пару дней и приносил с собою весть, что Добровольческая армия двигается на Москву... что Харьков взят...

А когда его через три месяца привезли раненым, хромым, самовар загнянул в его чистые карые глаза и испугался — такая там лежала глубокая человеческая печаль, словно мальчику было не 18, а всех 35 лет, и во всем он в жизни разочаровался.

Приближалось Рождество. Вспомнил самовар об ёлке, о ребятишках, которые придут танцовать и кружиться... Но вместо того все вдруг зашевелилось, забеспокоилось, застонало. Капитана на фронте убили.

Спешно уложили барыня, институтка Леночка и не покинувшая их в беде Дуняша самые необходимые вещи. Задумались над самоваром, но не выдержали и хоть обругали "громоздким", да упаковали в узел и повезли. Пришлось ему долго в потемках и неизвестности переезжать с места на место. Где-то под ним клокотала морская пучина, — говорили, что корабль выдержал бурю на пути в Константинополь... На одном из островов Эгейского моря с Самоваром Ивановичем чуть не произошла драма! Его поставили на выставку комиссионного магазина, разбитого в огромной палатке — "Маркизе", — хотели продать!.. Потому что все захваченные с собою деньги под прозвищем "колокольчики" вдруг перестали что-либо стоить. Но положение спасла Леночка, как-то сразу ставшая взрослой и вышедшая замуж. Жених ей в виде свадебного подарка выкупил Самовара Ивановича! Леночка взяла с собой в приданое и Дуняшу, превратившуюся в "прислугу за все" и ближайшего друга дома.

И начали они путешествовать по заграницам. Леночка пела, муж ее на рояле играл, Дуняша стряпала, а Самовар Иванович, как старый домашний кот, мурлыкал по вечерам и утешал.

Оставаясь по целым дням одна дома, Дуняша многое-многое рассказала Самовару Ивановичу из прошлой жизни и из настоящей. По ее разумению, бес овладел русским народом, и каждому человеку захотелось быть не тем, чем он был, ну вот словно в сказке "О рыбаке и рыбке"... А теперь долго еще придется нести на себе испытание бедствиями и собственной кровью... И должен Самовар Иванович помнить, что и он, и Леночка, которая с такой тоской поет "Занесло тебя снегом, Россия!" и все, кто с усталой головой приходит к ним вечером "выпить чайку и гостеприимных хозяев", представляют собою плавающий островок в чужом море, а если простятся им грехи, то когда-нибудь вернутся к себе на Родину: "И вот заживем мы тогда с тобою, Самовар Иванович, хоть на старости лет среди своих!.." А пока надо работать, работать, имени русского не срамить и терпеть...

Самовар Иванович, уже полинявший, переживший не один ушиб и впадину, трудился изо всех своих почтенных сил. Он чувствовал, что и в нем на чужбине сохраняется кусочек России да еще какой важный кусочек! Его приглашали даже на благотворительные вечера в пользу бедных соотечественников, и он там, ярко начищенный, демонстрировал иностранцам, как можно уютно пить чай с лимоном, спасающий от всех заграничных гриппов!

* * *

Незаметно крадущейся походкой прошли года. Самовару Ивановичу было уже под тридцать— возраст для него не малый, и он готов был иной раз крякнуть и пожаловаться на избыток пережитого, усталость... О том же иногда поговаривала и сама Леночка, ныне Елена Николаевна, сорокалетняя женщина, с полными плечами и сеточкой морщинок около глаз. Уже не пела по русским ресторанам, а сидела день-деньской в одном из югославских министерств, стуча на машинке, а по вечерам вышивала шелковое дамское белье — нужно было зарабатывать, поднимать на ноги подрастающих детей: Юру, ученика 7-го класса, и Бэбочку, которой недавно минуло 12. Муж, Павел Александрович, тянул свою лямку в другом министерстве.

Но оказалось, что для усталости нету и времени. Грянула Вторая Мировая война. Сначала появилась издалека. Видна она была Самовару Ивановичу по иллюстрированным журналам, лежавшим на столе: польская кавалерия собирается брать Берлин, а ей навстречу выезжают танки... Горит разгромленная Варшава... Немецкие и советские офицеры пожимают друг другу руки. На картинках чередуется фюрер с его штабом и подвалы европейских столиц, переполненные испуганными людьми, прислушивающимися к бомбардировке... Тучи самолетов над беззащитными городами... Развалины домов, впервые открывшие постороннему глазу обнаженные комнаты, человеческое жилье без одной или двух стен...

6-е апреля. Яркое теплое весеннее утро. Самовар Иванович только что собирался приступить к своим

обязанностям и, по случаю воскресения, разгореться веселыми искорками деревянного угля, как совершилось небывалое — с неба посыпались черные и белые гирьки, раздались взрывы, и все, кто в чем был, многие в пальто, накинутом на белье, бросились вниз по каменной лестнице, чтобы спрятаться глубоко в земле, в прачешной...

Самовар Иванович остался один в квартире и прижался к стенке кухонной раковины около струившегося крана, куда впопыхах сунула его побелевшая от страха Дуняша. Он помнил о своем достоинстве героического тульского самовара, пока тысяча стеклянных брызг не осыпала кухни... В открытом окне исчез в течение секунд соседний дом, рассыпавшись в кучу мусора и погребая десятки людей... — И у меди есть сердце! — сказал Самовар Иванович самому себе и потерял сознание.

Должно быть, он долго был болен, а когда пришел в себя, все окружающие уже никак не могли ориентироваться в жизни. Во всяком случае его больше не грели и не ставили на стол, а понесли в опустевшую столовую и водрузили на верх буфета, в котором постепенно пропадали все продукты: не было ни сахара, ни повидла из слив, ни булок, а только соль, сода и остатки перца... Чем жили люди? Это была тайна Елены Николаевны и Дуняши, исхудавших еще больше, чем Павел Александрович и дети.

По ночам прибегали стаи голодных опечаленных мышей. Горько жаловались они, что склады зерна и крупы разграблены людьми во время бомбардировки, а новых запасов крестьяне не дают в опустошенный город.Не на что им менять: товаров нет, а деньги — просто тьфу! — ничего не стоят. Хлеб же надо прятать от жадности завоевателей. Так вот и мышам пришла беда! Бегут они из дома в дом, из улицы в улицу, и всюду пусто, пусто, пусто...

Как же был поражен Самовар Иванович, когда среди лета, когда, казалось ему, нужно сидеть и плакать над своей тяжкой участью, в доме раздались бодрые возгласы: "Война с советской властью. Россия скоро будет

освобождена! И каждый честный сын ее должен сейчас приложить все силы, чтобы перейти роковую границу и соединиться со своим народом, помочь ему... Как? Видно будет на русской территории..."

Настал день, когда Павел Александрович и Юра пришли домой в военной коричневой форме, возбужденные и радостные — ну совсем как когда-то, в лучшие дни гражданской войны, и так же на устах было слово "Москва!"... А через три дня настал момент разлуки. Прощались в столовой. Глаза Елены Николаевны полны были слез, но она, улыбаясь, прижимала к своему мокрому лицу одну дорогую голову за другой, отдавая и мужа, и сына... Кто из них вернется к ней?..

— Перестань плакать, Леночка, на все воля Божия! — Павел Александрович долгим поцелуем припал к жениной руке, столько лет его ласкавшей и работавшей на всю семью. Потом он выпрямился, поправил оружие и, взглянув наверх, усмехнулся: — Прощай и ты, Самовар Иванович!.. Если будет возможность, сбереги его, дорогая. Он у нас как реликвия...

— Твой свадебный подарок!..

— Пора, пора в дорогу!..

Хлопнули двери. "Уш-ли..." — всхлипнула Дуняша и прислонилась к тому самому буфету, на котором стоял совершенно взволнованный самовар. Ему в этот миг показалось, что он приобрел дар голоса, и он сказал плачущей женщине: — Я такой же верный, как и ты. Я с вами всегда...

Что было дальше? Тянулось время и год, и два в какой-то затяжной невзгоде. Он был не у дел и одиноко смотрел со своей высокой позиции, как постепенно из комнат выносили одну вещь за другой и меняли на сало, на мешочек серой или кукурузной муки... Но ни разу не было речи, чтобы продать старого медного друга.

Однако, на третий год стало ясно, что те невзгоды еще были не настоящие, а наступает что-то страшное, чего не ждали, к чему не готовились. Снова город замирал от треска рвущихся снарядов, снова звенели стекла вылетающих окон, и падали стены домов... А женщи-

ны были одни. Много раз переживал Самовар Иванович страх за них, когда они убегали прятаться в подвал от налетов, пока его очень спешно не уложили в ящик и не увезли в другую страну, где и небо и земля были совсем другими, чем в Белграде. А туда, в Югославию, явился старый жесточайший враг — большевизм.

Жили теперь в доме, прилепившемся к высокой горе. Через узкую улицу виден был кусочек костела, заслонявшего солнце, а все вещи в квартире были чужие, старые и довольно убогие... Все-таки нашелся в углу кухни, которая считалась и за комнату, отдельный столик, и на него со всем почетом поставили Самовара Ивановича. В этой стране был он в диковинку, и его с гордостью показывали заходившей иногда хозяйке-австрийке: "Русский самовар!"

Дуняша даже ухитрилась как-то приготовить угольков и согреть его окаменевшее нутро как раз под Рождество, когда получено было письмо, что Павел Александрович и Юра живы, а что были ранены — об этом не стоит и говорить.

Самовар Иванович нежно шипел и волновался, пуская пар. Он был начищен так красиво, что мог отражать круглое личико подросшей Бэбочки, нет, не Бэбочки, а Наташи, которой исполнилось шестнадцать лет, и неприлично стало называть ее детским именем. Видна в нем была, как в зеркале, и поседевшая голова ее матери. Утомленные глаза говорили: — Где они? Быть может, в снежную бурю пробивают себе дорогу на север? Дойдут ли до нас? Смилуйся, Боже!..

Через полгода вернулись. Но в каком виде?! Изможденный старик и высокий суровый юноша, хмурый, как ненастный вечер: — Мама, люди испорчены до мозга костей: обманули, погубили... Пусть заплатили за этот обман собственной кровью и поражением, но мы то за что? Все пропало. Еще туже петля коммунизма затянулась на нашем народе...

Отец и не выдержал: через месяц скончался от не понятой врачем болезни. Сын же взялся за кирку и лопату и пошел чинить железнодорожный путь. Наташа днем стучала на машинке в канцелярии одной из меж-

дународных организаций, опекавших перемещенных во время войны лиц, а по вечерам любила сидеть около Самовара Ивановича, барабаня пальцами об его подставку, зубрила английские слова: "Уэр, уэн, уич"... По праздникам стала собираться в той же кухне молодежь и жарко спорила, что делать? Куда ехать? Чем быть? Чему учиться? Венецуэла, Бразилия, Канада, Австралия?.. Где какие требования предъявляют? Какие загородки ставят? Кто принимает и стариков вместе с молодыми?

— У нас их трое, — шутит Юра, — мама, Дуняша и Самовар Иванович.

Много было комиссий, осмотров, надежд и разочарований, и наконец нашлась страна, раскрывшая свои двери для всей семьи. Ох, сколько было радости и в то же время тревог: как? что? Не сорвется ли в последний момент? Успеют ли вставить необходимые для заграницы зубы?

Самовар Иванович ехал в ящике, который в Бременской гавани опустили в трюм заокеанского парохода. Под шум волн, бившихся о борта парохода, он тихо и удовлетворенно дремал, сознавая, что был верным спутником семьи и выполнил свой долг самовара на долгом пути от Тулы-Москвы до Западного материка!..

К У К Л А

Жила-была девочка Маруся. В день именин она получила куклу. Ее на домашних крестинах, где главную роль играл пирог с земляничным варением, назвали Лялей.

Ляля спала в кроватке под балдахином из кисеи и ленты, питалась крошками со стола своей госпожи. На ночь Маруся ее баюкала и пела песенку про козлика, который ушел "в лес погуляти...". Почему-то кукла лучше всего засыпала под этот мотив, опуская свои восковые веки, которые можно было царапать ногтем.

Днем Ляля каталась в колясочке и получала подарки. Ее задаривали все: и мама, и тетя Аня, и тетя Катя — платьями и пелеринами из атласа и шелка, а кузина Буся принесла шерстяное вязаное одеяло собственной работы цвета "бордо", который так шел к золотистым кудрям новой любимицы.

Ляля была дорогой куклой с фарфоровой головкой и обтянутыми лайкой руками и ногами.

Сегодня на ее розовом личике отражалась улыбка годовалого младенца; завтра она, синеглазая, смотрела серьезно в свое будущее, грозившее многими катастрофами вплоть до разбитой головы, тяжелых увечий и починки в игрушечном магазине. Связать свою жизнь с жизнью шестилетней Маруси было не так легко!

Девочка спрашивала: "Нянь! А, нянь! О чем думает Ляля? Она сегодня сердитая!"

"Будешь сердитая, когда ты ей ручки выворачиваешь. Угомон тебя возьми!"

Нянь, а, нянь, а зачем она глазами хлопает, когда я ее трясу?"

"От сладкой жизни... должно. Душу ейную вытряхнешь!"

Маруся смотрит на куклу, внезапно уснувшую после встряски, и решает: "Гадкая Ляля. Она меня не лю-

бит". В ее мозгу ползут неясные тяжелые мысли, как ряд улиток, затаившихся в своих домах.

— Нянь, а, нянь, а где у куклы душа?

Коричневый сухой палец няньки поднимается к морщинистой шее и ищет ямку между ключицами: — Тут она... Что у куклы, что у человека — одинаково.

Маруся тихонько выщупывает свою шею. Ей кажется — душа очень хрупкая. Если дотронуться, будет больно. Розовый пальчик бродит по коже как раз над тем местом, где живет маленькая щитовидная железа.

Ребенок полчаса сидит на ковре возле кроватки Ляли, а затем вбегает в кабинет отца. "Папа", кричит Маруся: "кукле не больно, когда ее бьют?"

— Нет, детка, но кукла может погибнуть...

Маруся садится на колени к отцу, теребит его мягкую бороду и скрывает с ловкостью маленькой женщины в ласковом мурлыканьи и шалостях затаенную преступную мысль: душа интереснее куклы. Куклу нужно разбить!

На утро мама одевает Лялю в голубой атласный сарафан, кисейную рубашечку, кокошник, вышитый жемчугом, и сажает у себя на кровати. Русский боярский костюм — сюрприз для Маруси.

Девочка входит в комнату и останавливается зачарованная... Кукла сияет красотой! Еще никогда не горели так ярко ее синие глаза, не был так светел румянец, не улыбался радостно крохотный ротик с двумя белыми зубками.

Маруся с трудом переводит дыхание. Она молча берет куклу и уносит. Мама счастливо смеется вслед: сюрприз удался!

Маруся сажает Лялю на шкафчик с игрушками и любуется. Когда-нибудь тем же влюбленным взором она будет смотреть на своего жениха.

А то, что случилось потом, было или роковою нечаянностью, или невнятною злою волею — кукла полетела на пол лицом, и ее фарфоровая головка и грудь разбились вдребезги.

Маруся без слез стояла на коленях и, сдирая сарафан с опустевшей груди своей Ляли, торопливо искала ее душу.

Но души не было. Было мягковатое тело из массы и золотые винтики, прикреплявшие осколки фарфора.

Над горько расплакавшейся девочкой столпились взрослые. Нянька ворчала: — Не усмотри за тобой — и себе и другим голову прошибешь!..

Очень огорченная и разочарованная мама хотела знать, как все случилось? Но кто от века когда-нибудь мог объяснить: как случилась случайность?

Маруся сквозь слезы обратилась к отцу: — Ах, папа, у Ляли не было никакой души... и все вы... ничего... не понимаете...

Папа унес Марусю к себе в кабинет на большое-большое кожаное кресло, бросив маме угрюмую фразу: — Этой девочке тяжело будет житься на свете. Лишние запросы!..

А Лялю на следующий день отдали в магазин, чтобы привинтить ей новую головку в каштановых кудрях и окрестить именем Вари.

ГОРДИЕВ УЗЕЛ

Драма в четырех действиях.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

1. ЛАМЗИН Алексей Димитриевич, общественный деятель, журналист, 43 лет.
2. ЛАМЗИНА Екатерина Николаевна, его жена, 40 л.
3. ЛИКА (ЕЛЕНА), их дочь, 18 лет.
4. БАБУШКА Анна Григорьевна, мать Ламзиной, 62 л.
5. ВЕРХУНОВ Сергей Петрович, общественный деятель, адвокат, 46 лет.
6. ВЕРХУНОВА Ольга Васильевна, его жена, 39 лет.
7. ЮРИЙ, их сын, 19 лет.
8. БУГРЕТОВ Анатолий Федорович, делец, 40 лет.
9. РИМО-РИМЛЯНСКАЯ Авла Иоанновна, драматическая актриса, 28 лет.
10. ДОБРОВ (товарищ БАУЛЬСКИЙ), эмигрант, 50 л.
11. АКСАЙСКИЙ Евгений Александрович, домовладелец, 45 лет.
12. АКСАЙСКАЯ Таисия Ивановна, его жена, 35 лет.
13. ДЕРЕВНИН Леонид Андреевич, капитан артиллерии, 38 лет.
14. АЛЕВТИНА СТЕПАНОВНА, экономка Бугретова, 32 лет.
15. САША — горничная в доме Ламзиных.
16. БЕРТА — горничная в доме Верхуновых.
17. МАКАР ЗАХАРЬЕВИЧ, метр-д-отель в ресторане.

МОСКВА. 1917-й год.

ДЕЙСТВИЕ 1-е.

Начало марта 1917 г. Будуар Ламзиной. Направо круглый стол, стулья; налево диван, низенький столик, два кресла, табуретка. 2 окна, 2-3 двери. Цветы.

Явление 1-е.

Бабушка и горничная Саша.

БАБУШКА (смотрит в книгу). По "Молоховцу" готовить невозможно! Там все: 30 яиц да фунт масла... А у нас в Москве с тех пор, как беженцы понаехали,

дороговизна страшная. Шутка сказать, вместо 2 миллионов 3 миллиона жителей!

САША (приводя в порядок подушки на диване). Война-то много беды понаделала. Ведь третий год воюем...

БАБУШКА. Вначале мы войны и не чувствовали. Помню: осенью 14-го года к одному из приемов куличи испекли, так пустяки стоили, а всех я ими удивила! Интересно было: в октябре месяце чуть не пасхальный стол накрыли!

САША. А что гости не съели, Екатерина Николаевна по госпиталям развезли. Тогда-то внове было на раненых посмотреть!..

БАБУШКА (недовольно). Ну ты и скажешь... Да на раненых мода что ли бывает?

САША (злобно). А нешто нет? Кто на них сейчас поглядит? Госпиталев на каждой улице по 2, по 3. Из окон смотрют все обмотанные... еще по панели шляются со своими костыликами, папироски покупают... Идешь, да отвернешься, да платочком и покроешься. Не надейся, мол, брат, — не про твою честь... Ух! Сколько народу здоровущего перекалечили!

БАБУШКА. Теперь уже недолго ждать — весною будет наступление. Снарядов у нас много. Ну, и победа! И конец войне!

САША. Кабы так, а то и женишка неполоманного про нас не останется! (Таинственно). А на базаре, барыня, нехорошо говорят: быдто изменяют... которые старшие... енералы...

БАБУШКА. Это провокаторы болтают. Не слушай!

САША. Первокатеры-непервокатеры, а народу, барыня, невтерпеж, по домам пора... Я нашу Лизку на лестнице видала с ейным обожателем. Он — типографский... сказывает — в Петрограде народ бунтует... и в Москве зачинается...

БАБУШКА. Не хочу и знать. Все это глупости. Скажи-ка лучше: достала ли ты мне сливочного масла?

САША. Полфунтика я вам, барыня, у Чичкина выцарапала, да и то с заднего ходу.

БАБУШКА. На ужин, утром к чаю — вот у меня ничего и не останется для печенья. Катенька скажет: "На столе пусто!" Обед я сегодня заказала тоже совсем не гастрономический: борщ, жаркое, сырники. Для своих сойдет, лишь бы Анатолий Федорович не остался. Он — неженка!

САША (ухмыляясь и осматривая комнату). Анатолий Федорович — самый тонкий барин на Москве!.. Никак барыня?

Явление 2-е.

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (входит, бросает перчатки на столик у зеркала, снимает шляпу и передает ее Саше). Писем нет? Звонил ли кто-нибудь?

САША. Анатолий Федорович звонили. Будут в 5 часов вечера, к чаю... Да Юрий Сергеевич барышню вызывали. Беспременно, говорили, надобно повидать.

ЕКАТ. НИК. Юрка? Если и не увидит — беды не будет. "Кузинаж — данжере вуазинаж!", да к тому же они троюродные... (вынимает из сумочки рецепты). Саша, через час вы возьмете у "ферейна" два лекарства для меня...

САША. Слушаю-с (уходит).

Явление 3-е.

ЕКАТ. НИК. (подходит к матери и целует ее в лоб). Здравствуйте, мама. Я вас сегодня, кажется, и не видала? А где Лика?

БАБУШКА. Ушла после завтрака в студию. Тебя-то за завтраком не было... Алеша беспокоился...

ЕКАТ. НИК. (вздыхая). Лучше бы он меня не расстраивал!..

БАБУШКА. Катенька, грех тебе, — покладистей Алеши днем с огнем не найдешь!

ЕКАТ. НИК. (ходит по комнате). Алеша добрый, я не спорю... Но о семье он заботиться не умеет. Я устала, мама. Вся тяжесть жизни падает на мои плечи!

БАБУШКА. Алеша работает, сколько может: он и в газете, и в Земском Союзе, а теперь еще в Народном Университете... В Кадетской партии...

ЕКАТ. НИК. Его политика нас и губит. Ведь он отлично мог бы быть директором банка или членом правления какого-нибудь акционерного общества, но он не хочет! Анатолий Федорович столько раз предлагал его устроить... конечно, не сразу...

БАБУШКА. Я понимаю Алешу. У него душа не лежит...

ЕКАТ. НИК. (запальчиво). А у него "лежит душа", чтобы у нас был открытый дом, заезжали завтракать то Белоруков, то Маников? А попробовала бы я надеть немодную шляпку!..

БАБУШКА. Алеша любит видеть тебя самой красивой.

ЕКАТ. НИК. Приличная шляпка стоит сейчас полтораста рублей!

БАБУШКА. Я не понимаю, Катюша, почему ты так волнуешься? Живем мы не хуже других...

ЕКАТ. НИК. Жили... Было имение... В прошлом году мне удивительно везло на скачках! А сейчас я не знаю, как мы сведем концы с концами. На компромиссы я не способна! (ложится на кушетку).

БАБУШКА (подходит и садится в кресло). Так ли я поняла? Неужто от 1.000 десятин ничего не осталось?

ЕКАТ. НИК. Одна усадьба да десятин 100 луга... Алексей все надеялся достать денег, выкупить, скрывал от меня... Такое безумие!.. А вчера мы узнали, что все кончено. Землю купили наши же крестьяне из Марьевки... Бабы экономнее нас с вами — прикопили свои военные пайки!..

БАБУШКА. А мы не умеем...

ЕКАТ. НИК. Алексей болезненно переживает... Злится!.. Но доказывает мне, что для России будет очень хорошо, если земля перейдет в руки мелких собственников.

БАБУШКА (в глубоком раздумье). Так-так... Я ездила на своих лошадях, ты — на извозчиках, а Лика — в трамваях...

ЕКАТ. НИК. Ликины дети пешком пойдут? Нет, мама, этого я не допущу... Чего бы мне это ни стоило!.. У моей девочки будет автомобиль... На машин-

ке стучать Лика никогда не станет! Нет, я ее выдам замуж (зло и горько смеется) так, что Москва ахнет... Последние 10.000 за имение мы сохраним для Лики — это ее приданое.

БАБУШКА. Можно же сократиться... Зачем нам 7 комнат, 2 горничных? (звонок телефона за сценой).

ЕКАТ. НИК. Я больна, я не могу обойтись без Саши. К тому же вам, мама, она не стоит ни копейки из хозяйственных денег. Ее нанял Анатолий Федорович после моей операции. Право же, я могу принять от него эту единственную услугу! Он у нас находит семейный уют, ласку...

Явление 4-е. Те же и Саша.

САША. Барин по телефону звонили. Очень вас просят, барыня, из дому не выходить и барышни не выпускать. На улицах, мол, беспорядки начинаются, солдатов из казармов выпустили, а кто говорит — и тюрьму открыли... Наш барин с Сергеем Петровичем в Думе заседают!..

ЕКАТ. НИК. Удивительно неприятно и не во-время! Саша, посмотрите, чтобы Лиза подала самовар без угара.

САША. Что поделать, барыня? Деревенщина — наша Лизка! (уходит).

Явление 5-е. Екат. Ник. и бабушка.

ЕКАТ. НИК. Где же Лика? Эта девочка делает все, что она хочет!

БАБУШКА. Ничего плохого не делает. Никогда со мною не спорит. Прекрасная, выдержанная девочка!

ЕКАТ. НИК. Мне с ней нужно серьезно поговорить о том, что ее ожидает... Мне, может быть, снова придется лечь на операционный стол!..

БАБУШКА. Господи, помилуй! Неужели опять себя калечить хочешь?

ЕКАТ. НИК. Я только что была у д-ра Пензенского. Если не помогут лекарства, один выход — нож! О! (сжимает голову). Калека в 40 лет! Сломанная игрушка!.. (плачет). Что от меня останется?!..

БАБУШКА (гладит ее). Катюша, голубочка моя... и такая красавица... Катенька!

ЕКАТ. НИК. Меня... моя красота... съела!..

БАБУШКА Даст Бог — обойдется ..

ЕКАТ. НИК. Если бы кто-нибудь мог вернуть мне здоровье и десять лет жизни! О, я бы сумела ее иначе устроить... без колебаний... без глупых сентиментальностей!.. Взять и для себя кусочек счастья!.. Счастья... (плачет). Не успела...

БАБУШКА. Ох, грех какой! Тебя ли в девушках Москва не обожала? Муж всю жизнь влюбленный... друзья... вздыхатели...

Явление..6-е. (Слышен разговор за сценой).
ЕКАТ. НИК., БАБУШКА, ЛИКА и АВЛА ИОАННОВНА

ЛИКА (вбегает. Она в шапочке). Мамуся, бабуся, мне дали роль! Мы прямо из студии.

АВЛА ИОАННОВНА. Да. Да. Здравствуйте! Наше дитя выходит на авансцену!

БАБУШКА (в сторону) И чего тебя принесло!.. (Авле) Как поживаете? Пойду-ка я распоряжусь (уходит).

ЕКАТ. НИК. Очень мило, что зашли, мы вас давно не видали. Пожалуйста, садитесь. (Лике) ты довольна? Да? В чем же ты будешь играть? Нужны костюмы? (Авла Иоанн. идет к зеркалу и поправляет прическу).

ЛИКА (трясет головой). Пустяки. Гимназическое платье. (Ласкаясь к матери). Но знаешь, мамочка, мне бы хотелось еще тоненькую цепочку с кулоном... Можно? Роль у меня прелестная: я буду совершенной дурочкой!

АВЛА ИОАНН. У Елены склонность к быту. А я в ее возрасте уже никого, кроме героинь, играть не могла Пятнадцати лет я так крикнула на любительском спектакле, что весь зал вздрогнул!

ЕКАТ. НИК. Могу себе представить... Кто вам шил? Очень удачное платье.

АВЛА ИОАНН. Немудрено. Пятьсот рублей!

ЕКАТ. НИК. Да. Красота требует денег... (Лике). Мы переделаем тебе бабушкину сломанную брошь с бирюзой и жемчугом.

АВЛА ИОАНН. Не трудитесь. Я дам Елене надеть мой рубиновый кулон.

ЕКАТ. НИК. Благодарю вас, но это будет слишком старо для девочки.

ЛИКА (сконфуженно). Авла Иоанновна, пожалуйста, садитесь.

АВЛА ИОАНН. Лучше я похожу. Мне хочется размяться... Вчера Иван Иванович Мутовкин справлял день своего рождения...

ЕКАТ. НИК. И было выпито?

АВЛА ИОАНН. Две дюжины шампанского! (Лике). Не слушай, дитя, тебе еще рано...

Явление 7-е. (Те же и Бугретов)

БУГРЕТОВ. Приветствую наших прекрасных дам в знаменательный для России день! (целует обе руки Екатерине Николаевне). По случаю праздника — обе. Медам, мы накануне революции!

ЕКАТ. НИК. Не может быть! Я не верю...

АВЛА ИОАНН. Надо вызвать Сергея Петровича. Он должен знать!.. (Бугретов целует ей кончики пальцев). Если революция, то что же делать?

БУГРЕТОВ. Приколоть красную розу и ликвидировать акции металлургических предприятий.

АВЛА ИОАНН. У меня их почти нет. Я свои акции посадила в крупный бриллиант.

БУГРЕТОВ. Умно. У вас чутье...

АВЛА ИОАНН. Телефон у вас в кабинете? Вы позволите?

ЕКАТ. НИК. Да. Пожалуйста. (Авла уходит).

ЛИКА. Я тоже побегу к телефону. Мне нужен Юра.

ЕКАТ. НИК. Нет. Лика, уведи, пожалуйста, Анатолия Федоровича к себе в комнату. Расскажи ему про свой успех. Мне нужно на минутку остаться одной.

ЛИКА. Да, мамочка. Дядя Толя, идем (берет его под руку).

ЕКАТ. НИК. Не смей его так называть. Ты не маленькая, не забывай! (Бугретов и Лика уходят).

Явление 8-е. (Екат. Ник. и бабушка).

ЕКАТ. НИК. Красивая пара! Другого выхода нет — мы разорены, мы тонем... Выдержу ли я? (встает и тихо идет к окну). Как страшно трудно!.. Еще несколько минут, и... переход в старухи... (Бубушка входит что-то ворча).

БАБУШКА. Ты тут сама с собой разговариваешь? Да, полно сокрушаться... Где мои очки? Никак не могу запомнить, куда я их кладу... Ну, тут они.

ЕКАТ. НИК. Сядьте, посидите со мной минутку!

БАБУШКА. Печение в духовке. Того и гляди — подгорит! (уходит).

ЕКАТ. НИК. (ходит, сжимая пальцы). Ста-руха!.. И буду суетиться по хозяйству... у них в доме... если выживу...

Явление 9-е. (Екат. Ник. и Бугретов).

(Екат. Ник. подходит к дивану и садится, Бугретов пододвигает табуретку и садится около нее).

ЕКАТ. НИК. Давай поговорим, пока нет никого.

БУГРЕТОВ (закуривая). Что с тобою? Ты больна, Катишь? Или хандра напала? Или, быть может, тебе не нравится революция?

ЕКАТ. НИК. Мне до революции нет никакого дела. Я ее никогда не любила: ни лохматых студентов, ни мастеровых.

БУГРЕТОВ. Я сам от нее не в восторге. Не слишком я доверяю народной стихии. Но что поделаешь? Ее не избежать. Правительство бездарно, нерешительно.

ЕКАТ. НИК. Но раз все в один голос твердят, что революция разрубит Гордиев узел — пусть! У меня и своих Гордиевых узлов в жизни сколько угодно!

БУГРЕТОВ. Я тебе давно предлагал: руби!

ЕКАТ. НИК. И знал, что я обрубить не могу... что я не брошу моего беспомощного Алешу, Лику...

БУГРЕТОВ. За эти годы твоя дочь стала взрослой.

ЕКАТ. НИК. Ты это видишь? О, да. Лика — взрослая... (пристально смотрит на Бугретова). Она тебе нравится?

БУГРЕТОВ. Интересная, смелая девочка. Мне, по старой памяти, хочется посадить ее к себе на колени, но она не дается... За-бавная!..

ЕКАТ. НИК. Скажи, ты в самом деле любишь меня так безгранично, как говоришь?.. Всей душой?

БУГРЕТОВ. Я чувствую, что с тобою что-то творится. Эта лихорадка в глазах не от жара.

ЕКАТ. НИК. Ты сел далеко от меня.

БУГРЕТОВ (наклоняется и целует руку). Милая... другой такой милой... капризной... полной неожиданностей женщины на свете нет...

ЕКАТ. НИК. (целует его в висок). Эти седые волоски появились на моих глазах. Много я тебе задала неустройства в жизни... Ты до 40 лет не женат. (Гладит его по голове). Неужели тебе не хочется жениться? Иметь свой уютный дом, вместо твоей запущенной квартиры... и благочестивой экономки с тремя ребятами?.. Когда я прихожу к тебе, это она подслушивает за каждой дверью... Не хочется иметь молодую, веселую жену, которая глядела бы тебе в глаза?

БУГРЕТОВ. Катя, я рассержусь! Какие-нибудь нелепые сплетни докатились до тебя?

ЕКАТ. НИК. О, нет. Сплетен я не слушаю. Иначе мне бы часто приходилось страдать... Говорят, ты третьего дня вернулся из Харькова с двумя нашими балеринами?.. А? Я тебе верю. Мне нужно с тобою сегодня серьезно поговорить.

БУГРЕТОВ. Что за неожиданная решительность! Может быть, в другой раз? У тебя лихорадочные глаза. Лучше смерь температуру.

ЕКАТ. НИК. Я ничего не смею больше откладывать... Мне грозит новая операция. Я... я погибаю! Меня искромсают... Пойми!

БУГРЕТОВ. Выходим. Будем беречь, как фарфоровую куколку. У какого хирурга ты была? Пусть кончится война, и я увезу тебя за границу. В Берлин? В Париж? Куда хочешь — приказывай.

ЕКАТ. НИК. Толя, голубчик, солнышко мое, дай мне слово, что исполнишь мою просьбу. Ведь я у тебя никогда ничего не просила!

БУГРЕТОВ. Я это ставлю тебе в вину. Проси!

ЕКАТ. НИК. (медленно). Если я умру, ты женишься на Лике.

БУГРЕТОВ (встает). Что?.. Что?

ЕКАТ. НИК. Толя, я свою девочку люблю не меньже, чем тебя. Ну, вот... и соединитесь. Ты — в цвете сил, она — юная, одинокая, избалованная. Без меня она пропадет.

БУГРЕТОВ. Нет, Лика не пропадет. Она, как стрелочка прямая, пойдет своей дорогой.

ЕКАТ. НИК. Если бы ты знал, какая она добрая девочка... и какая хорошенькая... Я иногда называю ее: "Моя Аврора!"

БУГРЕТОВ. Ты забываешь, когда я в первый раз увидел тебя...

ЕКАТ. НИК. Десять лет тому назад... Мне не вернуть моей молодости... Слушай: ты дал слово! Я тебя совсем-совсем серьезно прошу, Толя, привыкни к этой мысли. Это только в первый раз она показалась тебе дикой... Я научу Лику любить тебя, как я тебя любила (тихо плачет). Ведь она привязана к тебе, как к родному. Ты — ее идеал. Она часто говорит: "Дяде Толе это понравится!", "Дядя Толя непременно бы возразил..." Пусть хоть Лика даст тебе то полное счастье, которое я тебе дать не смогла!..

БУГРЕТОВ. Побоялась! Десять лет тому назад я был ничтожеством (опускает голову на руки). Чем я был?..

Явление 10-е. (Те же и Авла).

АВЛА ИОАНН. Да здравствует Великая Русская Революция!

БУГРЕТОВ (очнувшись). Не рано ли? На бирже утром еще не было паники.

ЕКАТ. НИК. Я не верю... и... знаете... как-то не хочу! Не надо!

АВЛА ИОАНН. Не верите?! В Петербурге организовано Временное Правительство. Государь был в Ставке. Царица растерялась. Войска в толпу стрелять не бу-

дут... Наконец-то Россия очнулась от векового рабства!

ЕКАТ. НИК. Кто сказал?

БУГРЕТОВ. Откуда эти сведения?

АВЛА ИОАНН. Я только что говорила по телефону с Сергеем Петровичем.

Явление 11-е. (те же, Ольга Васильевна, Юрий и Лика).

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА (входит с Юрием и Ликой) Мой муж? Что с моим мужем? Здравствуйте, дорогие... Мой муж вскочил сегодня в 7 часов утра. Не завтракал. Я его нигде не могу поймать. Он в Думу — я за ним. Оказывается, уехал в Земскую Управу. Звоню — там его нет. (идет к столу). Вы себе представить не можете, какое сегодня возбуждение в Москве! Так и ездят друг к другу, так и ездят! Все фибры задрожали!.. (к Ек. Ник-е). Ах, да, 10 минут тому назад Сергей телефонировал, что приедет к тебе, Катя, пить чай. Я вне себя от нетерпения. Ведь это зенит! Зенит нашей с ним жизни!

ЮРИЙ. Зенит, мама, был давно.

ОЛЬГА ВАС. Как так?

ЮРИЙ. Зенит был тогда, когда я родился, твой единственный сын!

ОЛЬГА ВАС. С тобой, мой мальчик, невозможно разговаривать! (задумчиво). Как вспомню, — юность в Сибири, свадьба в Томске, потом заграница, чужая Швейцария... Еще счастье, что у меня было маленькое состояние. Потом годы труда и вечный страх, что снова все кончится тюрьмой и Сибирью...

АВЛА ИОАНН. (нахмурившись, гуляет по комнате и декламирует). Великие события... Великий момент... Сейчас или никогда... (Лика и Юрий разговаривают в глубине сцены).

ЕКАТ. НИК. Хоть бы вы, Анатолий Федорович, поехали и узнали, в чем дело. Я только тогда поверю, если вы и ваша знаменитая биржа скажут, что действительно наступила революция.

БУГРЕТОВ (встает). Я и сам намеревался. Я не ожидал, что события развернутся с такой быстротой. Сейчас время — деньги больше, чем когда-либо. Я не прощаюсь (кланяется и уходит).

Явление 12-е. (те же без Бугретова).

ОЛЬГА ВАС. (усаживаясь в кресло у чайного стола). А ты плохо выглядишь, Катя. Я бы на твоем месте поехала в Крым. (Саша накрывает и подает самовар).

ЕКАТ. НИК. Слишком рано, Саша. Уберите его.

ОЛЬГА ВАС. Нет-нет. Я сначала налью себе чашечку (наливает). Сливочника что-то не вижу.

ЕКАТ. НИК. (морщась). Должно быть, нет. Не достали сливок.

ОЛЬГА ВАС. Ничего, ничего... Я могу и без сливок. Это мой Сергей Петрович без сливочек и кофе не станет пить.

ЕКАТ. НИК. Лика, посмотри, что там подано на стол?

ЛИКА. Варенье из крыжовника и коробка конфет от харьковского "Пока", которую вчера прислал Анатолий Федорович.

ЕКАТ. НИК. И больше ничего?

ЛИКА. Лимон, сухарики...

ЕКАТ. НИК. (полузакрыв глаза). Сухарики... сухарики... А ты, Оля, говоришь: "Поезжай в Крым!" Легко сказать! (Саша убирает самовар).

ОЛЬГА ВАС. (со вкусом пьет чай). Совсем не дорого. Я тебя уверяю. Каждую весну я провожу в Крыму. Сергей думает купить дачу в Гурзуфе. Я только и жду, чтоб, наконец, совершилась революция, и он мог немножко отдохнуть. Все ведь на его плечах: адвокатура, партия...

ЮРИЙ. Зато я, мама, расту оболтусом.

ОЛЬГА ВАС. Именно! Вот уж ни в меня, ни в отца! Не знаю, откуда у меня такое чудо на двух ножках. Вчера, можете себе представить, иду по Арбату. Вижу: мой Юрка вместе со старушками из церкви, от всенощной выходит. Румянец во всю щеку, а лицо постное... Я, го-

ворит, мама, молился, чтобы наши войска победили. Недурно? Никогда его не учила молиться . . . Родился за границей, бонна была из бедных эмигранток. Нет! Атавизм какой-то. В прабабку — в игуменью Марфу! Все, что он слышит дома, проходит мимо его длинных ушей. Сережа иногда не выдерживает и раздражается. Юрка, например, не позволяет нам контролировать, с кем он дружен.

ЮРИЙ. Мамочка, Ольга Васильевна, а я вас все-таки очень люблю! И папу люблю, хотя он и чудак!

АВЛА ИОАНН. (останавливаясь). Позвольте, Юрий Сергеевич, спросить, чем же ваш папа чудак?

ЮРИЙ. Очень просто. 20.000 рублей в год зарабатывает, а социализм проповедует.

АВЛА ИОАНН. Одно другому не противоречит. Вожди никогда не будут на положении рядовых. Лучшие люди и даже родственники Царя сейчас за революцию.

ЮРИЙ. Я бы хотел знать, что делается на улице. Пойдем, Лика, на Тверскую и посмотрим на "массовое творчество".

ЕКАТ. НИК. Я не позволяю!

ОЛЬГА ВАС. Не смей!

ЮРИЙ! (пожимая плечами). Всю жизнь меня готовили к революции, а сейчас и на улицу не пускают. Это нелогично, мама! (уходит в двери кабинета, за ним Лика).

Явление 13-е. (те же без Юрия и Лики).

АВЛА ИОАНН. Как вы позволяете ему так дерзить? Я бы его прибрала к рукам!

ОЛЬГА ВАС. Пустяки! Он добрый и даже очень нежный мальчик, но сейчас он в таком возрасте, когда не уважают родителей. Когда я была на курсах, профессор Гауф нам говорил, что молодежь в 17-18 лет...

Явление 14-е. (те же, Верхунов и Ламзин)

(из передней, громко разговаривая — "Я бы не хотел думать...", "Обстоятельства заставят"... входят Сергей Петр. и Алексей Димитр.)

ЛАМЗИН (жене). Поздравляю, Катишь, и вас всех, господа, переворот на полном ходу!

ВЕРХУНОВ. Москва присоединилась к восставшему Петрограду. Час тому назад председатель Земской Управы Грузинов провел артиллерийскую батарею к Думе. Всякие попытки борьбы с революцией будут прекращены вооруженной силой. (смотрит на Авлу Иоанн. Она стоит у стены со скрещенными на груди руками).

ЕКАТ. НИК. Боже мой! Боже мой! Как жутко! Что же будет? Неужели одни войска будут стрелять в другие? Это невозможно себе представить... Где Лика?

ЛАМЗИН (целует ей руки и гладит их). Волноваться нет оснований... Успокойся, родная! Революция больше похожа на грандиозную мирную манифестацию... В Петербурге свободу приняли с таким восторгом, что Государственная Дума не знает, как ей быть... Сотни тысяч народа бросились к Государственной Думе... Они ее окружили... Они ею овладели. Родзянко без конца выходит на балкон и благодарит за приветствия. Мы, москвичи, как всегда опоздали.

ВЕРХУНОВ. Как я устал (бросается в кресло). Если и опоздали, то наверстаем. На то и Москва-матушка!

ОЛЬГА ВАС. Москва? Настоящая просвирня... Но что же ты, Сережа?.. Нет! От волнения я не могу говорить... все слова иссякли...

ЛАМЗИН. Да, Москва уже вышла на улицу.

ВЕРХУНОВ. Но еще молчит. Накаляется. Вот посмотрим, что будет, когда эти толпы заговорят!

АВЛА ИОАНН. Это будет коллективный гимн пробуждения!

ВЕРХУНОВ. Да, да, Авла Иоанновна. Мы услышим голос безымянной массы, как ее до сих пор называли.

АВЛА ИОАНН. А на самом деле голос народа! Он будет похож на рокот моря... Я уже слышу его!..

ЛАМЗИН (садясь у стола). Поторопись с самоваром, Катя; мы ведь сейчас снова в Думу. Каждая минута дорога. Надо следить за событиями... Нужно тактично обойтись с прошлым правительством.

ЕКАТ. НИК. (звонит). Мне жаль чего-то... Жизнь не повторится... А столько было красивого...

ВЕРХУНОВ. Надеюсь, что правительство уже арестовано. Надо предотвратить неожиданные нападения на нашу молодую свободу... "Они" будут защищаться, а это пахнет кровью... А мы должны показать миру единственный в истории пример бескровной революции!.. Впрочем, все случилось так, как я и предполагал. В корне подточенное дерево рухнуло. (Саша подает самовар).

ОЛЬГА ВАС. (подходит к нему и кладет руки ему на плечи). Сережа, разве не настала та минута, которой мы ждали всю жизнь? Почему же ты молчишь? Я себе эту минуту совсем иначе представляла!.. Я думала, сердце разорвется от радости... Раскрепощенная Россия!.. Теперь мы победим какого угодно врага!.. А ты озабочен?

ВЕРХУНОВ. Мне многое не по душе. Надо будет с самого начала кое-кого обуздать... В данный момент не смеет быть различных мнений... Мы еще не окопались...

ОЛЬГА ВАС. Вся Россия должна слиться в одном братском чувстве!

ВЕРХУНОВ. Пустяки! Я предвижу столкновение партий. У меня есть свои частные сведения из Петрограда. Там уже приняты меры, чтобы отмежеваться от буржуазии.

ЛАМЗИН. (Быстро крошит сухарики, ест и говорит). Кадетская партия даст по меньшей мере шесть министров... Она — мозг страны; состав кабинета уже намечается... Разумеется и Керенский. Наша партия должна приобрести то, чего нам несколько нехватает — железную волю!..

ЕКАТ. НИК. И все это серьезно? В самом деле? И наши друзья будут министрами?

ЛАМЗИН. Ну да, ну да. А что? Тебе не верится?

АВЛА ИОАНН. (симулируя глубокую задумчивость). Революция... Стихия!.. Как загорается кровь!.. Как давно я ждала этого мгновения!

ОЛЬГА ВАС. Сейчас нужно море любви... В ней возродится Россия.

АВЛА ИОАНН. Сейчас нужен огонь!

ВЕРХУНОВ. Пусти меня, Оля. Я должен выпить чашку чая. Не помню, позавтракал ли я.

ОЛЬГА ВАС. (бросается к столу и наливает). Хочешь, я попрошу у бабушки чего-нибудь поосновательнее?

ВЕРХУНОВ. Некогда! И говоря прямо, не до того...

ОЛЬГА ВАС. (садится рядом и гладит его по рукаву). Милый мой! Еще немножно усилий. Ты столько сделал для России и человечества . . . И вот сейчас — у цели! Я так тебя люблю за это . . . Мы поедем с тобою в Крым. Там персики цветут! Ты будешь, наконец, иметь возможность отдохнуть . . . К нам в имение будут приезжать люди, чтобы поговорить с тобой, как в Ясную Поляну к Толстому . . .

ВЕРХУНОВ. Перестань, Оля! Не делай меня смешным. Некстати. Момент очень серьезный. Социал-демократы не могут остановиться на одном каком-то дворцовом перевороте. Не для того мы шли в тюрьмы и в Сибирь.

ЕКАТ. НИК. Мне почему-то вспомнилась вся моя жизнь . . . А медведь не очнется? И не цапнет? . . Что делает наш командующий войсками?

ЛАМЗИН. Заперся в генерал-губернаторском доме и пробует прервать сообщение с Петроградом.

ВЕРХУНОВ. Выжидает. Надо опасаться, что к вечеру полиция начнет стрельбу с крыш и чердаков. Вы бы уехали к себе домой, в Сокольники, Авла Иоанновна!

АВЛА ИОАНН. Вы первый обо мне вспомнили, Сергей Петрович. Но я не уйду так трусливо. Я хочу все знать (подходит к столу и садится).

ОЛЬГА ВАС. Может быть, и вы хотите чашечку чая?

ВЕРХУНОВ. Катя, здесь об Авле Иоанновне все позабыли.

АВЛА ИОАНН. Да, попрошу... Я хочу послать к нам, на Кубань, первую телеграмму.

ЕКАТ. НИК. Вы боитесь за свой маслобойный завод? Кажется, он так называется?

АВЛА ИОАНН. (передернув плечами). Нет. У нас —

страна демократическая, и моих подсолнечных полей никто не тронет. Я просто хочу быть добрым вестником. Пусть люди порадуются и вспомнят обо мне .

ЛАМЗИН. А вы казачка или иногородняя?

АВЛА ИОАНН. Иногородняя ... собственно на границе Ставропольской губернии ...

ЛАМЗИН. Тогда хуже. Но, впрочем, спите спокойно. Порядок полный. Мы вам его гарантируем. Серж, я тебя не жду. Прости, пожалуйста, Катюша, я тороплюсь. До свидания, дорогие! (целует жену и направляется к двери; приостанавливается). У тебя лоб горячий. Ты бы приняла хины, Катя. (Екат. Ник. с привычной улыбкой кивает головой).

ВЕРХУНОВ (иронически). Да, кстати, нам и не по дороге. Последние газеты у Алексея в кабинете?

ЕКАТ. НИК. Должно быть.

ВЕРХУНОВ. Мне необходимо просмотреть, на чем они остановились (уходит).

АВЛА ИОАНН. И я иду. Сергей Петрович продиктует мне текст телеграммы (уходит).

ЕКАТ. НИК. (пристально смотрит на Ольгу). А ты снова в шерстяном платье с белым воротничком! Ты и в Крыму будешь носить юбку с блузкой и кожаным кушаком, как курсистка?

ОЛЬГА ВАС. Я принципиально не трачу ничего лишнего на свои наряды. Это унижает женщину.

ЕКАТ. НИК. Смотри, чтобы Сергею не надоели твои шерстяные платья! Он что-то помолодел, подтянулся ...

ОЛЬГА ВАС. Мы с тобой всегда говорили на разных языках. Сергей уважает мои "шерстяные платья", как ты выражаешься. Я его никогда не разоряла на собольи пелеринки, купленные по случаю ...

ЕКАТ. НИК. Какая ерунда!

ОЛЬГА ВАС. А твой намек по адресу моего мужа просто некорректен! Сережа на-днях мне сказал, что еще никогда в жизни мне не изменял. Не знаю, почему ему пришло в голову заговорить об этом. Он весь в идее. Я в молодости даже иногда огорчалась его холодностью ...

ЕКАТ. НИК. Тем опаснее. Подожгут.

Явление 15-е. (те же и бабушка).

БАБУШКА. Что же это такое? В этом доме меня ни о чем не спрашивают... ничего не говорят... Ну, как могли вы отпустить детей, когда на улице беспорядки?!

ОЛЬГА ВАС. Не беспорядки, а революция, тетечка!

БАБУШКА. Где-то уже стреляют. Лиза прибежала бледная, как смерть, и уверяет: из Ставки получен приказ — шпарить по толпе картечью...

ОЛЬГА ВАС. (смеется). Некому шпарить, тетечка!

ЕКАТ. НИК. (поднимаясь). Разве дети не в Ликиной комнате, мама? Скорей посылайте прислуг, пусть ищут. Я больна... Я не могу бежать... (падает на кушетку).

БАБУШКА. Иду, иду... лучше бы не говорила...

ОЛЬГА ВАС. (вдогонку). У Кати жар!

ЕКАТ. НИК. Не жар... Где моя девочка?.. Стреляют!.. Нет? Вы слышали?.. Лика на снегу... струйка крови. Хоть бы эта ваша революция или сразу кончилась, или вовсе не начиналась!

ОЛЬГА ВАС. Какую чепуху ты говоришь! Только ради твоей болезни можно простить.

ЕКАТ. НИК. Где мама? Пусть зажжет лампадку! Пусть молится!.. Мои больные нервы мне говорят, что это конец... конец и моей жизни...

Явление 16-е. (те же, Лика, Юра и Саша).

ЛИКА. Не сердись, мамуля, мы не могли оставаться дома. Это так интересно! На улицах масса народа и в то же время странная тишина. Словно не очнулись...

ЮРИЙ. Теперь будет царствовать Великий Князь Михаил Александрович!

ОЛЬГА ВАС. Его только нехватало! Теперь Романовы могут ехать за границу.

ЕКАТ. НИК. Девочка моя, родная моя, побудь со мной. Пожалей свою маму! (плачет).

ЛИКА. Мамуля, ляг в постельку. Ты совсем больна (звонит).

ЕКАТ. НИК. Сумеешь ли ты понять мою жертву? Я, кажется, говорю лишнее... Помоги мне (входит Саша). Саша, дайте руку. (Саша и Лика, поддерживая с двух сторон, уводят Екат. Ник-у). Если приедет Анатолий Федорович, ты займешь его, Лика, оставишь обедать. Я его сегодня видеть больше не могу.

ОЛЬГА ВАС. Идем, Юрка.

ЮРИЙ. А где же папа? Я посмотрю, нет ли его в кабинете.

ОЛЬГА ВАС. Твой отец, конечно, уже давно уехал.

ЮРИЙ. Ладно. Я провожу тебя и побегу к товарищам. Они, наверное, знают, что сейчас делается в Армии. Как бы немцы не воспользовались нашей суматохой и не перешли в наступление... (уходит).

Явление 17-е. (Верхунов, Авла Иоанновна, Саша).

(Из кабинета выходит Верхунов, а за ним и Авла Иоанн.)

ВЕРХУНОВ. Прекрасно. Все ушли.

АВЛА ИОАНН. Сергей Петрович!

ВЕРХУНОВ. Главное, не волнуйтесь. Я сказал и повторяю: в вас, Авла, моя радость, моя награда за трудовую жизнь! И, наконец, ведь я же свободный человек, не связанный никакими традиционными предрассудками!..

АВЛА ИОАНН. И вы, Сергей Петрович, ни при каких обстоятельствах не откажетесь от своих слов?

ВЕРХУНОВ. Я не привык, чтобы в моих словах сомневались!

АВЛА ИОАНН. Я готова кричать от радости ... как большая сильная птица!.. Мне трудно поверить...

ВЕРХУНОВ. Я заставлю тебя поверить (привлекает ее к себе). Какая ты красивая! Ах, какая красивая!.. Счастье мое... долгожданное...

АВЛА ИОАНН. Наше... огромное... чудесное счастье? (медленно уходят, обнявшись, до дверей; из других дверей входит Саша).

САША. Вот барыня Ольга Васильевна и у праздничка! Смастерили ей Сергей Петрович революцию! У-ах! (ставит на стол корзиночку с печеньем, берет одно и грызет). Люблю я господскую жизнь!..

ДЕЙСТВИЕ 2-е.

Июнь 1917 года. Кабинет Верхунова. Массивная мебель. Портреты Маркса, Плеханова, Л. Толстого. Около письменного стола этажерка с несколькими папками. На верхней полке фотография Ольги Васильевны с ребенком на руках и Авлы Иоанновны в сильно декольтированном платье.

Явление 1-ое. (Ольга Вас. и затем Верхунов).

ОЛЬГА ВАС. (у этажерки вытирает пыль, берет портрет Авлы в руки и разглядывает). Вот как! Новоиспеченная социалистка? Но как же она раздета!.. Я бы запретила партийным женщинам оголяться. Ввела бы форму, простую, гигиеническую, которая ни в ком бы не возбуждала зависти.

ВЕРХУНОВ (входит и садится в кресло у стола). Ты, кажется, кого-то здесь критикуешь?

ОЛЬГА ВАС. Говорю, что трудно будет Авле с ее капиталистическими замашками приспособиться к новому строю.

ВЕРХУНОВ. Все постепенно. Мы занимаемся пока перестановкой лиц и направлений, а реформаторская деятельность придет позже. Наш милый новый товарищ успеет подтянуться. Она исключительно способна, жизненна, горяча! Товарищ Авла — ценное приобретение для партии! Я леплю из нее, как из воска, фигуру сильной революционной женщины. Вот ты увидишь месяца через два-три, что это будет! К тому времени власть окончательно укрепится за нами. Но ты как будто недовольна?

ОЛЬГА ВАС. Я бы хотела, чтобы эта карточка не стояла у тебя на видном месте... Да... многое я себе представляла иначе... Скажу: революция — не та! Странно мне: не вижу в жизни ни равенства, ни братства... ни искренней радости... Все злятся... (снова берет карточку Авлы в руки).

ВЕРХУНОВ. Олечка, ты неисправима. Что значит в 16 лет начитаться Жан-Жака Руссо!.. А карточку оставь в покое. Она тебе мешать не может...

ОЛЬГА ВАС. Я многого себе не уясняю, и спросить у тебя некогда. Ты ни одного вечера не проводишь дома и даже ешь наскоро и без аппетита.

ВЕРХУНОВ (рассматривая бумаги). Возможно, что я и сегодня не смогу обедать дома.

ОЛЬГА ВАС. Как, опять? А я заказала твои любимые пирожки с рыбой, спаржу и цыплят.

ВЕРХУНОВ. Что поделаешь? Я занят всюду: заседание президиума Совета рабочих депутатов, 2 комиссии, прием иностранных журналистов. Приходится привыкать к безвкусным обедам (слегка вздыхает, а затем улыбается своим мыслям).

ОЛЬГА ВАС. Тебе необходимо отдыхать. Ты так похудел за последнее время. Тебе воротнички стали широки!

ВЕРХУНОВ. Наоборот. Я чувствую себя прекрасно. Напрасно ты беспокоишься. Сейчас надо действовать, жить полной жизнью. Я слишком молод, Оля, чтобы итти на покой, как ты этого желаешь. Я не вправе... Что сказали бы следующие поколения, что сказала бы история революции, если бы верные сыны ее почили на лаврах, добившись только первых ступеней мирового переустройства!..

ОЛЬГА ВАС. Я этого не говорила. Мне бы просто хотелось, чтобы ты иногда бывал дома по вечерам... объяснял бы мне и Юрке ход происходящих событий, руководящую линию. Мне давно нужно поговорить с тобой о мальчике. С тех пор, как он окончил гимназию, он совершенно отбился от рук, проводит время у товарищей — в неподходящей среде или у постели раненого Лени Деревнина.

ВЕРХУНОВ. Об этом мы как-нибудь поговорим основательнее. Во многом виновата ты сама. Нельзя поклоняться своему ребенку, как идолу, и стремиться все время гнаться за его мыслями и настроениями. В Юрии нет настоящей серьезной самостоятельности. Я в нем не вижу самого себя... Вместо идейной дисциплинированности — обывательщина какая-то. А ты успокаиваешь себя на том, что он "милый мальчик".

Кстати, что представляет из себя Деревнин? Капиталист? Черносотенец?

ОЛЬГА ВАС. Нет. Он — узкий националист и, кажется, эстет-индивидуалист... собирает старинные иконы.

ВЕРХУНОВ. На Юру глубокого влияния иметь не может. Не волнуйся. А если ты скучаешь по вечерам, я мог бы устроить для тебя какие-нибудь курсы для работниц. Читай им о Радищеве, о декабристах... Придумай сама. Меня удивляет, что ты вдруг потеряла всякую инициативу.

ОЛЬГА ВАС. (смотря на портрет Авлы). Какие крупные жемчуга!.. Целое состояние...

ВЕРХУНОВ. Что за мещанское замечание!

ОЛЬГА ВАС. Ты стал невозможно раздражителен. (уходит).

ВЕРХУНОВ (берет телефонную трубку). Алло! Дайте 4.42.18. Что? Занято? Прервите. У телефона Верхунов. Спасибо. Алло! Ну да, конечно, это я. Что? Устали? Кутили? Легла в 4 часа? С кем же? Что-о-о? Мутовкин? Это недопустимо! Хотя и старое знакомство, — прекратить немедленно! Авла Иоанновна, вы забываете, что вы теперь прежде всего партийная работница, а затем уже актриса... Вы говорите мне дерзости! И смех неуместен... Неправда. Я всегда выполнял мои обещания. Не понимаю, о чем вы говорите и что значит "Я сама создам обстоятельства". Странный, совсем странный тон. Нам необходимо объясниться. Я буду дома до завтрака.

Явление 2-ое. (Верхунов, Ольга Вас., Ламзин).

(Входят О. В. и Ламзин).

ВЕРХУНОВ. А, Алексей Димитриевич, очень кстати.

ОЛЬГА ВАС. Подумай, Катя решилась на операцию и даже нас не предупредила. Температура 38.

ЛАМЗИН (садится). Я совершенно убит. Не выхожу из лечебницы... Бредит... Ничего понять нельзя. Ей кажется, что ее душа перевоплощается в Лику... Ужасно! Когда очнется, плачет, говорит о смерти... кх... кх... Она бывает моментами кротка, как ангел...

ОЛЬГА ВАС. Я сейчас же иду к ней.

ВЕРХУНОВ. Вот тебе и занятие. До завтрака ты мне не нужна. Поезжай (рассеянно). Подумайте, какое несчастье... Вы давно видели Мутовкина, Алексей Димитриевич? Где у него деньги?

ЛАМЗИН. По слухам, за границей.

ОЛЬГА ВАС. Почему ты вдруг начал называть Алешу по имени-отчеству? Разве я не права, что ты заработался.

ВЕРХУНОВ (морщась). Бывают моменты...

ЛАМЗИН. Оля, подождите, я хочу говорить при вас. Вы сами понимаете, если я бросил жену в таком тяжелом положении, на это должны быть веские причины.

ОЛЬГА ВАС. (садится). Еще несчастье?

ВЕРХУНОВ. Вероятно, вчерашнее постановление Совета рабочих депутатов о борьбе с контрреволюцией?

ЛАМЗИН. Я о нем едва слышал. Не постановление, а жизнь! Григорий Иванович Леонтьевский убит в своем смоленском имении.

ОЛЬГА ВАС. Ах! Еще недели две тому назад он ужинал у Кати.

ЛАМЗИН. И трогательно прощался. У него было, очевидно, предчувствие смерти.

ВЕРХУНОВ. Или сознание своих штрафных поступков перед народом? Насколько помню, он был уездным предводителем дворянства в прошлую трехлетку?

ОЛЬГА ВАС. Кем убит? Да говори же!

ЛАМЗИН. История скверная. Убит шайкой замаскированных... Явились утром. Прокрались через сад. У дома задушили садовника. Никто не успел поднять тревогу. Вся семья была на террасе за самоваром. Первая увидала бабушка и закричала. Так на ее глазах и расстреляли сына. Марлинская гостила у них и была тяжело ранена. Теперь лежит рядом с женой, в соседней комнате... Забыть не может, пугается, кричит, плачет. Ведь Гришу без всякого предупреждения или вопроса пятью пулями изрешетили. За что, спрашивается? Гуманнейший, щедрейший человек!

ВЕРХУНОВ. Прости, но из твоего рассказа я ничего понять не мог. Причем тут я?

ОЛЬГА ВАС. Сережа сегодня невозможен. Не слушай его. Рассказывай!

ЛАМЗИН. Минуту терпения. Мария Павловна Леонтьевская успела вскочить в кабинет и схватить револьвер. Одного из нападавших она уложила наповал, другие убежали. Убила она как раз вожака... Но, господа, на нем оказалась рубашка из голландского полотна... выхоленные руки... Ясно, что заграничный гость и предводитель шайки! Вчера убили Леонтьевского, а завтра убьют Ананьева, Просолова... Что же это такое? Немецкая агентура?

ОЛЬГА ВАС. Ужасно! Так жаль милого Григория Ивановича.

ВЕРХУНОВ. Революция не признает сентиментальностей. Убийство — только следствие, а где причины?

ЛАМЗИН. Пойми же, убивали чужие!.. Опознать невозможно. Крестьяне прискакали в имение к Потягиным предупредить. Те опрометью бросились в Москву. Расспроси, если хочешь.

ВЕРХУНОВ. Я не признаю единичных случаев. И никаких выводов делать не собираюсь. Говоря объективно, Леонтьевский все же представитель привилегированного класса...

ОЛЬГА ВАС. Может быть, Сережа прав? Но что-то не верится, добрейший был человек.

ЛАМЗИН. Я приехал просить тебя снестись со Смоленским Советом рабочих и солдатских депутатов. Ведь здесь, в Москве, ни одна газета не смеет напечатать о происшедшем без их разрешения... Случилось на территории Смоленского Совета.

ВЕРХУНОВ. Совершенно верно. Печатать не к чему. Нам надоели эти хронические нападки либеральных партий на народную власть. Она за все ответственна! Вы бы хотели, чтобы революция была для вас посыпана сахаром...

ОЛЬГА ВАС. Не надо ссориться... Как это все неприятно (качает головой и уходит).

ВЕРХУНОВ (предлагает папиросу Ламзину). Я бы вам, советовал, Алексей Димитриевич, не волноваться из-за пустяков.

ЛАМЗИН (отворачивается и, сгорбившись, направляется к двери). Человеческая жизнь стала пустяком? Было из-за чего копья ломать!

ВЕРХУНОВ. Положим, для вас — только перья!

ЛАМЗИН (приостанавливается). Итак, категорический отказ? Черная цензура?

ВЕРХУНОВ. Преувеличиваете, мой милый! Передайте Екатерине Николаевне мое сожаление. Я не имею времени ее навестить, но жена у нее, конечно, будет. (Ламзин у дверей сталкивается с Ольгой Вас. и Боулем).

Явление 3-е. (Те же, О. В. и Боуль).

ОЛЬГА ВАС. Сережа, смотри, кто приехал! Какая радость! (Ламзину). Ты уже уходишь? Скажи Кате, я сейчас заеду.

ЛАМЗИН. Я бегу... Она в таком состоянии... (уходит).

ВЕРХУНОВ. С революционным приветом!.. Надолго?.. Совсем?

БАУЛЬСКИЙ. Не очень надолго... но, может быть, совсем! (жмет обе протянутые Верхуновым руки). Хе-хе-хе...

ОЛЬГА ВАС. Вас поразят наши перемены! Сергей вам все расскажет. Я побегу, похлопочу о завтраке. Вы кофе пили?

БАУЛЬСКИЙ. Не беспокойтесь, товарищ Ольга. Я уже сыт, а к излишествам не имею привычки. Мое здоровье, как всегда, не очень хорошо.

ВЕРХУНОВ (пододвигает кресло). Вас, тов. Баульский, нам крайне недоставало... хотя мы с вами и разных толков... В своем массиве партия социал-демократов в вас сильно нуждается.

БАУЛЬСКИЙ. Да, да, я так думаю. Нельзя останавливаться. Нам, смотревшим со стороны, виднее... Я, знаете, недоволен.

ОЛЬГА ВАС. (торжествующе). Вот видишь, Сережа, я говорила то же самое (уходит).

ВЕРХУНОВ (улыбаясь). Не странно ли вам очутиться в том же самом доме, в кабинете, где мы вас так тщательно прятали два года тому назад?

БАУЛЬСКИЙ (вскакивает и бегает по комнате из угла в угол). И спокойно говорить "Бауль", а не тов. Добров? Для массы, примите во внимание, я все еще тов. Добров из Швейцарии. Хе-хе-хе.

ВЕРХУНОВ. Но чем же вы недовольны, товарищ? Мне кажется, что касается нас, то мы точно выполнили программные начертания. Совет рабочих депутатов немедленно выхватил власть из рук умеренных партий.

БАУЛЬСКИЙ. Ближе к делу! Какое официальное место вы сейчас занимаете?

ВЕРХУНОВ. Члена президиума Совета рабочих депутатов.

БАУЛЬСКИЙ. Так почему же не председателя? Я не согласен с распределением мест и людей. Настоящий революционер должен забыть, что такое вежливость! А вы все только раскланиваетесь направо... Слишком направо!

ВЕРХУНОВ. Как? Позвольте...

БАУЛЬСКИЙ. А вот так!.. Кто командующий войсками в Москве?

ВЕРХУНОВ. Товарищ Верховский.

БАУЛЬСКИЙ. Эс-дек?

ВЕРХУНОВ. Нет. Социал-революционер. Гвардеец, разжалованный царским правительством в солдаты... Великолепный парень!..

БАУЛЬСКИЙ. Слишком много социалистов-националистов! Эс-эры мне всегда были, так сказать, отвратительны... Славянофильство, община, русский народ! Скажите, кому это нужно в мировом масштабе? Сейчас, когда во французских и германских войсках идет усиленная пропаганда, и весь старый европейский мир трещит... Хо-хо! Он накануне хаоса! (быстро замолкает).

ВЕРХУНОВ. Как я понял, дорогой товарищ, вы недовольны нашим временным блоком с эс-ерами? Но Керенский так популярен... Савинков...

БАУЛЬСКИЙ (с гримасой). Керенский — куколка! Сегодня его выставили напоказ, а завтра его сметет... Еще неизвестно, кто будет: тов. Ленин или кто-нибудь другой. Надо уметь защищать завоевания революции! (бегает по комнате).

ВЕРХУНОВ. Мне кажется, возможность реакции отстранена на десятки лет.

БАУЛЬСКИЙ (подходя к нему). Какой вы мальчик! Я гляжу и вижу: дети, настоящие дети эти русские! Нет опасности? Вы должны думать, вставая с вашей пружинной постели и ложась в нее, что контрреволюция не за горами! Она — у ворот! Я буду сегодня долбить по головам товарищей: что же, вы хотите поддерживать русскую государственность? Капиталистов? Кулаков?.. Товарищи эс-деки должны вооружиться. Они должны быть готовы выйти на улицу. Твердите, не стесняясь: "Гидра контрреволюции... Гидра, кровавая гидра! Она сожрет ваший детей!" О! Людям кровь бросится в глаза...

ВЕРХУНОВ. Революция идет поступательным шагом через буржуазный период, вполне согласованно с теорией. Она постепенно внедряется...

БАУЛЬСКИЙ (иронически). Хо-хо!..

ВЕРХУНОВ (немного обиженно). Полагаю, потребуются годы или десятилетие, чтобы подойти к рубежу чистого социализма...

БАУЛЬСКИЙ (перебивая). Что? Годы?.. История дала нам такой роскошный подарок, как война, а вы говорите — "годы"!.. Дала разбегающийся с фронта вооруженный народ! Чего это стоит?.. Дает поражение, негодование, злобу, разруху и... виновных, конечно! В и н о в н ы е тоже предусмотрены... Мне нравится — "революция внедряется"... Вы довнедряетесь и будете иметь "Вандею" у себя на шее. У вас нет темперамента, товарищ Сергеев. Вы очень ценный ответственный работник, но, знаете, не надо так много головы... Побольше чувств! Побольше позы! Настоящий ум без театра работать не может: личины, костюмы, чувства... Для толпы — что угодно! Для себя самого наш великий завет: м и р о в а я р е в о л ю-

ц и я! А для нее все средства хороши. Вы его еще не усвоили вполне. Я вижу в вас какое-то колебание... Я даже готов понять: тут атавизм, чистокровные предки да еще москвичи... Мне в этом отношении легко: моя мама была полуполька-полунемка, а о папаше вообще неизвестно, кто он был... Мне легко порхать из страны в страну и сеять, всюду сеять... (гордо поднимает голову). Хе-хе-хе-хе...хо-хо!

ВЕРХУНОВ. Вам понравится наша новая работница по отделу агитации. Я как раз жду ее.

БАУЛЬСКИЙ. Красивая женщина? Это хорошо. Нам сейчас голова не нужна. Нужны руки, ноги, святое бешенство! Фанатизм! Бейте по массам горящими лозунгами, но не останавливайтесь на сегодняшнем дне. Русская революция должна зажечь мировой пожар, или она может погибнуть.

ВЕРХУНОВ. Я уже усвоил вашу точку зрения.

БАУЛЬСКИЙ. Так, так. Надо привыкать к мысли, что Россия, как таковая, не нужна. Мы в ней завоевываем первую крупную позицию, с которой начнем диктовать свою волю... Нужны поля... рабочие руки... А разве Россия е с т ь на самом деле? Сто угнетенных народностей под одной кличкой. Но почему тогда не сто десять?

ВЕРХУНОВ (не поднимая головы). Да... да... да...

Я в л е н и е 4-е. (Те же и Авла Иоанновна).

(Входит в шикарном костюме с красным цветком в петлице и в красной шляпке).

АВЛА ИОАНН. А вот и я! Какой сегодня чудесный день! Хотя сейчас все дни чудесны!

ВЕРХУНОВ. Авла Иоанновна Римо-Римлянская, известная артистка драматического театра; наш новый товарищ, о котором я вам только что говорил.

БАУЛЬСКИЙ (с удовольствием щурясь и откидываясь в кресле). Я рад. Здравствуйте, тов. Авла. Почему такое странное имя?

АВЛА ИОАНН. Потому что... ну, потому что я — не покаявшийся Савл... Мне так нравится...

ВЕРХУНОВ. Тов. Авла, вы сейчас говорите с товарищем Добровым, о котором вы столько слышали от меня...

АВЛА ИОАНН. (снимает шляпку и бросает на стул. Верхунов помогает ей снять жакет. Она и жакет бросает на стул, садится во второе кресло и оглядывает комнату). Солнце даже в этом мрачном кабинете, где ни в чем не видно присутствия женщины. Ни одного цветка! Для меня, артистки, это так необычно! (обращаясь к Баульскому). Неправда ли, в углу, под портретом Маркса, должен стоять сноп пунцовых роз?

БАУЛЬСКИЙ (щурясь). Отчего же... Красные розы — дань уважения... Это даже хорошо!

ВЕРХУНОВ, (ходит по кабинету, потирая руки). Если вам нравится, я прикажу. (Баульскому). Тов. Авла — мое духовное произведение, если можно так выразиться. Дитя буржуазной среды. Над ее обращением я работал около двух лет... и дождался награды: революцию мы встретили при полном душевном понимании (кладет ей руку на плечо). Не правда ли, Авла?

АВЛА ИОАНН. (весело кивая головой). Да. Да. Я была так счастлива. Во мне вибрировал каждый нерв. Когда я увидела на площади толпу, море голов, зажженных одним порывом, я не выдержала... Завернувшись в красный флаг, я вскочила на трибуну. Не помню, что я говорила... Толпа ревела. Успех был колоссальный!

БАУЛЬСКИЙ. Хорошо. Очень хорошо. Это как раз то, что нам сейчас нужно. Побольше эмоций! Поменьше мыслей! Мысли смеют быть только односложные.... Массы должны накаляться... Вот тут я доволен!..

АВЛА ИОАНН. Революция — моя стихия! Я никогда не выносила рамок и смело переступала линию мещанской морали. Я не хочу знать, что будет дальше... Но только вперед! Вперед! И... вместе с ним! (подходит к Верхунову, берет его под руку, экстатически закидывает голову).

БАУЛЬСКИЙ. Браво! Браво! Я вижу: вы большие друзья (вынимает часы). Мне пора принимать мое лекарство. Не откажите, товарищ, позвонить. Мне нужен

стакан воды, и где я могу полежать минут десять? Мне так полагается...

ВЕРХУНОВ. Сию минуту. Берта Августовна вам все устроит. Будьте, как дома.

БАУЛЬСКИЙ. Хе-хе... Такие дома у меня по целому свету. Я — странствующий факел интернационала!.. Так я иду. (уходит, встречаясь в дверях с пожилой горничной-экономкой).

Явление 5-е. (Те же без Баульского).

АВЛА ИОАНН. (гладит свои колени). Ну-с? Хотели меня видеть? Вы очень озабочены... Боюсь вас еще больше огорчить. Я, может быть, на-днях уеду...

ВЕРХУНОВ. Брось причуды! Я к ним не привык. У меня времени нет...

АВЛА ИОАНН. (жестко). Привыкнешь... или... я обвенчаюсь с Мутовкиным и уеду с ним за границу. Ха-ха-ха! Вилла в Ницце!..

ВЕРХУНОВ (вскакивает). Как это глупо!

АВЛА ИОАНН. Не знаю... а, может, и заманчиво?.. Голубое море... медовый месяц...

ВЕРХУНОВ. Вы не проедете. Дорога на Запад закрыта.

АВЛА ИОАНН. Тогда фиорды и лиловое море... белая пена... Муж в шлафроке из бархата-пана...

ВЕРХУНОВ (хватает ее за руку и поднимает). Я еще никому не позволял над собой издеваться!..

АВЛА ИОАНН. (гладит ему плечо). Разве ты не видишь, что я смеюсь? Ну, поцелуй же меня! Я рвусь к тебе, а ты угощаешь меня важным дядей. Я, кажется, хорошо вела себя с ним?

ВЕРХУНОВ. Да. Да. Будь с ним любезна. Он чрезвычайно влиятелен в нашем мире. Мы с ним старые товарищи по ссылке...

АВЛА ИОАНН. Ах, так...

ВЕРХУНОВ. От него во многих случаях зависит распределение работы...

АВЛА ИОАНН. Пусть переведет тебя в Петербург... В правительство? (подносит платок к зубам). Я больше не согласна выносить подобное положение!..

ВЕРХУНОВ. Ах, Авла! Авла! Ты мне только что грозила Мутовкиным... Какое ты еще дитя!

АВЛА ИОАНН. (освобождаясь и ходя по комнате). Мутовкин давно в меня влюблен... умоляет... Сегодня вечером он уезжает на юг, в наши места... Он обещает...

ВЕРХУНОВ. Этот спекулянт? И ты способна?!..

АВЛА ИОАНН. (подбегает к нему). О, нет! нет!.. Я не могу с тобой расстаться... Но ты так измучил меня... (прижимаясь) Пожалей! У меня все нервы изныли... и эта ложь... Я — прямая. Я — честная Я не могу глядеть в глаза твоей жене. Я решусь на какой угодно отчаянный шаг!..

ВЕРХУНОВ. Не смей нервничать. Я все обдумал и на-днях отошлю жену с сыном в Крым. Кстати, она обожает Гурзуф. Тогда мы будем свободны. Во-вторых, я должен тебе сказать...

АВЛА ИОАНН. Я хочу, чтобы мы всегда были свободны!

ВЕРХУНОВ. Но нельзя же так сразу...

АВЛА ИОАНН. Сереженька, я тебе говорила: мне опостылило мое одиночество. Мне нужна твердая мужская рука... Сереженька, если ты меня любишь... (заглядывая в глаза). Любишь?.. Мне нужно много-много любви, чтобы в ней потонуть... (притягивая его к себе. Долгий поцелуй).

ВЕРХУНОВ (пробуя освободиться). Авла, ведь так же нельзя... Я теряю голову... Каждую минуту могут войти...

АВЛА ИОАНН. Я не стыжусь моей любви (поцелуй). Любишь? Говори же! Твой ответ решит все.

ВЕРХУНОВ. Ты... ты... ты будешь моей женой... Делай со мной, что хочешь (поцелуй).

АВЛА ИОАНН. Теперь я сама пойду в бой и завоюю наше счастье! Будь уверен.

Явление 6-е. (Те же и Ольга Вас.).

ОЛЬГА ВАС. Кате лучше... А? Что это такое? (Авла крепко прижимается к Верхунову боком) Мой муж?!..

АВЛА ИОАНН. (отчетливо). Он был вашим мужем, товарищ Ольга. Теперь он — мой муж!

ВЕРХУНОВ. Оля, пойми... мы с тобой разные люди.

ОЛЬГА ВАС. Ты! Ты... Сережа... (шатается, показывая на Авлу). Невенчанная?

ВЕРХУНОВ. Авла, как можно так сразу? Мне неприятно... (делает движение к двери).

ОЛЬГА ВАС. (с ненавистью Авле). Гадина! (мужу) Я тебя словно в первый раз вижу... Трус! Первая... вторая жена... Да. Шерстяные платья! . Ха-ха-ха... Как все просто... (падает на стул).

ВЕРХУНОВ. Ольга, я не хотел... (делает движение вернуться).

АВЛА ИОАНН. (хватает его под руку и тащит к дверям). Умоляю!.. Иди!.. Чем короче, тем лучше. (уводит).

ОЛЬГА ВАС. (мотая головой по спинке стула). Зарезали... По крайней мере сразу!.. Чтобы мой Сергей мог так поступить!.. Так обманывать... Я ему всю жизнь отдала... и... ничего!.. ничего... ничего... Мы — "разные люди"... Ничего... пустота...

Явление 7-е. (Ольга В., Берта, затем Юрий).

БЕРТА. Ольга Васильевна! Ольга Васильевна! Голубчик мой!..

ОЛЬГА ВАС. Я не могу... я задыхаюсь... Воды... (Берта убегает. Через несколько секунд в дверях перед ней появляется Юрий в форме Александровского пехотного училища и хочет войти, Берта его оттаскивает назад, шепчет... Юрий отталкивает ее и входит).

ОЛЬГА ВАС. (тихо вздрагивает от внутреннего рыдания) .Сережа!.. Сережа!.. Неужели навсегда?!

ЮРИЙ (опускаясь перед ней на колени). Мама, уйдем отсюда. Здесь нам не место. Пусть "он"...

ОЛЬГА ВАС. (всхлипывая, нащупывает его голову). Молчи, Юра, молчи... ни слова! (открывает глаза. В ужасе). Юнкер!

ЮРИЙ (встает). Александровского пехотного училища!

ОЛЬГА ВАС. (протягивая к нему руки). Юра! Ты... и война! Тому ли тебя учили?! Какое безумие... или мы сами совершенно сумасшедшие?.. Дитя мое...

ЮРИЙ. Мама, я не могу иначе! Мы молоды. Нас много. Своими шашками мы защитим фронт. Мы не дадим опозорить Россию!

ОЛЬГА ВАС. Ребенок! Вас перебьют... перебьют свои же солдаты... Эта война больше никому не нужна... А впрочем, я ничего не знаю... Я совсем впотьмах! Боже мой! Боже мой, какой мрак! Веди меня, Юрий, куда хочешь, только поскорее... Ради Бога, скорей из этого дома!..

ЗАНАВЕС.

ДЕЙСТВИЕ 3-е.

Начало августа 1917 года. Москва. Отдельный кабинет первоклассного ресторана.

Явление 1-е.

(Бугретов и метр-д-отель Макар Захарьевич).

БУГРЕТОВ (у середины стола, смотрит вино на свет). Цветы поставьте в трех местах. Красные розы на конце стола, белые — посередине. (Раскладывает именные карточки около приборов). Смотрите, чтобы шампанское было во-время подано.

МАКАР ЗАХАРЬЕВИЧ. Не извольте беспокоиться... Икра, Анатолий Федорович, самая свежая... Рыбы в ледниках прямо с Нижнего. Хлебцы выпекаем из белейшей муки. Мучаемся, мучаемся, чтобы все в лучшем виде, без различия от старого режима. А время, сами знаете, какое: за мешок муки по двести рублей плачено!

БУГРЕТОВ. Я на вас полагаюсь, Макар Захарович. Сегодня, так сказать, мое обручение. Правда, скромное — всего несколько близких мне людей. Я не хочу огласки.

МАК. ЗАХ. Понимаем, Анатолий Федорович. Мы в этих делах очень даже ученые. Разрешите поздравить и пожелать наилучшего счастья (уходит).

Явление 2-е. (Бугретов, Аксайские).

АКСАЙСКАЯ. Здравствуйте, родной мой. Мы очень-очень рады. Оттого и пришли пораньше, чтобы поздравить без свидетелей, от всего сердца! (Бугретов целует ей руки).

БУГРЕТОВ. Спасибо. Я знаю, вы мой искренний друг.

АКСАЙСКИЙ. Первыми поздравлять должны именно мы — вы у нас свой человек в доме.

АКСАЙСКАЯ (пудрится у зеркала). И детей мы вместе крестили. Кум!..

АКСАЙСКИЙ. Своих Бог не дал, так чужих крестим. Ничего не поделаешь. У меня крестников до дюжины, а у жены еще больше.

БУГРЕТОВ (оглядывая стол). Вот ваши места.

АКСАЙСКАЯ. Мы еще на диванчике посидим. Садитесь-ка и рассказывайте нам... Я уже закаялась дальше крестников набирать, но если вам с Ликой Бог пошлет детей, так первенец — мой!

АКСАЙСКИЙ. Всю дорогу со мной Таисия спорила, кому будет принадлежать честь... Я не хотел уступать, так Тая меня "шутом гороховым" назвала!.. Ей-ей...

БУГРЕТОВ (улыбаясь). Непременно.

АКСАЙСКИЙ. Да ты не забудь, сделай милость, запиши где-нибудь, а то жена тебе вовеки не простит!

АКСАЙСКАЯ. Верно! (усаживается поудобнее). Садись же и ты, Женя. Ну, Анатолий Федорович, я, правду сказать, от любопытства лопаюсь: как это у вас все неожиданно повернулось?!

БУГРЕТОВ. Судьба. И сам не знаю, как случилось — Лика моя невеста! Прехорошенькая девушка! А?.. Десять лет тому назад я ей косы расчесывал! У Екатерины Николаевны нехватало терпения распутывать вьющиеся тонкие волоски, и "дядя Толя" этим занимался.

АКСАЙСКАЯ. Ловко за матерью ухаживал! Это мы все знаем. У нее поклонников был целый хвост, могла выбирать...

АКСАЙСКИЙ. Ты хоть при других не ляпни какой-нибудь бестактности!

АКСАЙСКАЯ. Для того и пришли раньше, чтобы поговорить по душам. Дальше, Анатолий Федорович!

БУГРЕТОВ. Лика вытянулась на моих глазах. Я должен был приходить к ней в комнату — она тогда спала с бабушкой — пожелать ей спокойной ночи. Я и не помню точно, когда она перестала садиться ко мне на колени...

АКСАЙСКАЯ. Почти как дочь. Это понятно...

АКСАЙСКИЙ. Тася!..

АКСАЙСКАЯ. Не мешай, пожалуйста, когда кума с кумом беседует... А потом-то как же?

БУГРЕТОВ. Возил конфеты, катал на рысаке... Даже гордился ею, когда она декламировала на домашних концертах.

АКСАЙСКАЯ. Не тяни за душу, голубчик!

БУГРЕТОВ. За время болезни Екатерины Николаевны мы очень много времени проводили вместе. Она как-то сразу повзрослела... Теперь ошеломлена, подавлена своим счастьем... Балую... Вожу уже не конфеты... Подумайте, юное очаровательное существо согласилось быть моей женой, а я позабыл, что молод! Все дела... дела... деньги... а для себя — почти ничего...

АКСАЙСКИЙ (смеется). Ему все мало. Дон-Жуанище, есть ли у тебя совесть?

АКСАЙСКАЯ. Набалованный такой. Везде искал тонкости переживаний...

БУГРЕТОВ. Урывками, Таисия Ивановна, урывками... А Лика мне сулит настоящее полное счастье. Простите, кажется, идут... (уходит).

Явление 3-е. (Те же без Бугретова).

АКСАЙСКАЯ. Воображаю, как Екатерина Николаевна глаза себе проплакала!.. Маруся видела ее на Кузнецком мосту — она там мех для дочери выбирала... Говорит — старуха! Куда и красота девалась?.. Ох!..

АКСАЙСКИЙ. После операции исхудала.

АКСАЙСКАЯ. Тут и похудеешь, когда дочь за родного, можно сказать, любовника замуж выходит! Как подумаешь, так и обрадуешься, что детей нет...

Явление 4-е (входят Екатерина Николаевна, Лика — обе в белом; Бугретов и Деревнин).

ЕКАТ. НИК. (здороваясь). Простите, мы запоздали. Ждала мужа, а его в последнюю минуту вызвали в секретариат Государственного Совещания...

ЛИКА. Здравствуйте, Таисия Ивановна. Вот я и невеста!

АКСАЙСКАЯ (целует Лику, отодвигает ее от себя и смотрит). Мила, ужасно мила! Без пяти минут молодая дама... 17-то исполнилось?

ЛИКА. Восемнадцать! Я даже чувствую себя старой. Бэби Рыльская в шестнадцать лет венчалась, гимназии не кончила...

ДЕРЕВНИН. И уже вдова. При мне ее мужа привезли в госпиталь с двумя пулями в легких.

ЕКАТ. НИК. Да что вы, господа! На обручении говорите о покойниках! Давайте садиться. Сегодня я в последний раз сажусь на место хозяйки! (садится в конце стола, Бугретов шутливо-торжественно приглашает Лику, Аксайские под-ручку идут к столу).

АКСАЙСКАЯ (мужу, тихо). Это не я сказала, как ты бы мог думать, а она сама!..

ЛИКА (в середине стола рядом с Бугретовым. Он ей что-то говорит неслышно, почти на ухо).

Все сейчас считают своим долгом подтрунивать надо мной.

(Макар Зах. входит и заботливо накладывает).

АКСАЙСКАЯ. Подожди! Когда поедешь с первыми визитами — вот тогда тебя возьмут в оборот. Мой тебе совет: бери с собой носовой платок с длинными кружевами, чтобы было куда нос спрятать!

ЛИКА (задумчиво). Мне кажется, я очень хорошо знаю жизнь...

ДЕРЕВНИН. Если бы здесь присутствовала наша дорогая Ольга Васильевна, она бы сейчас же вспомни-

ла профессора Гауфа и психологию возрастов... Кстати, господа, я ведь с нею больше не ссорюсь...

АКСАЙСКИЙ. Чудеса! Раньше нельзя было вдвоем оставить — скандал!

ЕКАТ. НИК. (Бугретову). Ольги не будет. Ей надо простить. Она не в состоянии себя пересилить.

БУГРЕТОВ. Мне искренно жаль...

ЛИКА. А Юрий будет. Он дал мне слово. Бедная тетя вся задрожала сегодня, когда при ней сказали, что Сергей Петрович в Москве и уже женат.

(Макар Зах. отходит на второй план).

АКСАЙСКАЯ. Ужасная у нее судьба! Всю жизнь дышала Сергей Петровичем...

АКСАЙСКИЙ. Да, его похвалить не за что. Странное у нас сейчас понимание свободы!.. Это так, между прочим... Поступил он грубо, бесчеловечно и... некрасиво.

ДЕРЕВНИН. Он мне всегда казался порядочным бревном. Впрочем, подробностей развода я не знаю.

БУГРЕТОВ. Они скандальны!

АКСАЙСКАЯ. Я бы его подстрелила. Не дала бы ему с его...

АКСАЙСКИЙ. (быстро прикладывает к ее губам салфетку). Тасся!..

АКСАЙСКАЯ. Хочу и говорю. Еще такой человек не родился, чтобы мог мне рот заткнуть!

ДЕРЕВНИН. Конечно, она могла бы сопротивляться, вызвать свидетелей. Один Мутовкин чего бы стоил! Он — со злости — такой бы Малявинский лик расписал, что Сергею Петровичу его партия запретила бы жениться на "буржуазной авантюристке"! Он ведь сейчас шишка не маленькая — один из сановников при Временном Правительстве!

ЛИКА. А знаете, как Авлу Иоанновну зовут на самом деле? Анна Ивановна Подушниченко. Я сама видела в канцелярии театра...

БУГРЕТОВ. Забавно! Но глупо сделала Ольга Васильевна, отказавшись от обеспечения. Он мог бы ей подарить дачу в Гурзуфе или доходный дом у нее на родине в Самаре. Женщину нужно обеспечить...

ЛИКА. О, нет! Я бы тоже ничего не взяла. К чему деньги, когда нет счастья?!

БУГРЕТОВ. Вот как? Мне это нравится (целует ей руку и кладет в нее футлярчик).

ЛИКА. Что это? (открывает). Ах, какая прелесть! (вынимает кольцо). Мама, смотри, какая чудесная жемчужина! Спасибо, Толя. Ты меня совсем задарил.

АКСАЙСКАЯ. Горько!

ДЕРЕВНИН. Горько!

ЛИКА. Что вы? Что вы? Мы еще не женаты!..

ЕКАТ. НИК. (нервно смеясь). Горько! Не будь так скупа, Ликуша. Разве ты не видишь, как счастлив твой жених?

ЛИКА. Я не хочу его сразу избаловать!

АКСАЙСКАЯ. Правильно, Лика! (Екатерине Николаевне). В наше время мы были другими. Уж если любим — себя не жалели. Все для него! Для любимого!

ЕКАТ. НИК. Зато есть, чем молодость вспомнить... Моя Лика — сухонькая...

ЛИКА. Откуда же мне, мама, быть другой?

БУГРЕТОВ. Я заступлюсь за Лику. Она — еще ребенок. Еще не проснулась... Девочкам в 12 лет, в коротеньких юбочках форменных платьиц с черными передниками, тоже кажется, что они знают жизнь...

ЛИКА. Мне не двенадцать (тянется к нему за поцелуем). Это тебе за терпение.

АКСАЙСКИЙ. Умно. А ну-ка, Анатолий, посмотрим, как ты справишься с умной женой? (Бугретов разводит руками).

ЕКАТ. НИК. А нужно ли женщине быть умной?.. Впрочем, я Толе помогу...

АКСАЙСКАЯ (в сторону). Лучше бы не совалась!

АКСАЙСКИЙ. Когда же мы празднуем свадьбу?

ЕКАТ. НИК. Как можно скорее.

БУГРЕТОВ. Мы ждем, чтобы окончился Успенский пост и Государственное Совещание. Завтра ведь его открытие.

АКСАЙСКИЙ. Да, чем-то оно подарит страну? На фронте — разложение, в тылу — полнейший беспорядок.

ДЕРЕВНИН. Нужны героические меры. Ждут Главнокомандующего. Мы устроим ему на вокзале торжественную встречу. На него вся наша надежда. Или он сумеет взять власть в свои руки, или... Ну, что, господа, тогда? Гибель России!..

ЕКАТ. НИК. Дядя Леня, это невыносимо! Почему никто ничего не пьет? Анатолий Федорович!

БУГРЕТОВ. Прошу!.. О чем бы ни заговорили, всюду одно и то же: быть России или не быть. Не знаю, понимаем ли мы, что значит "не быть"?.. Хотя я не склонен к пессимизму — молодые нации не погибают. И на кривой выедем.

АКСАЙСКИЙ. А где ты держишь деньги?

БУГРЕТОВ. В Швеции, конечно.

ЕКАТ. НИК. Мне бы очень хотелось пригласить к себе генерала Корнилова, но говорят, он недоступен...

ЛИКА. Я слышала от офицера, приехавшего с фронта, что Корнилов маленький и бронзовый, как божок... Он окружен туркменами, которые его охраняют; он ведь знает множество восточных языков и близок с ними... Мы с Юрой думаем, что он всех нас спасет от позора! Как было бы хорошо! Как бы спокойно я выходила замуж! Толя, дайте мне вина, я хочу выпить за Россию и за Главнокомандующего.

ВСЕ. Браво! Браво! (Лика встает, высоко подняв бокал. Деревнин подходит к ней).

ДЕРЕВНИН. За Россию, за Главнокомандующего и за русскую женщину, которая всегда идет впереди нас! Ура!

ВСЕ. Ура! Ура!

Явление 5-е. (Те же и Ламзин).

ЛАМЗИН. Как я рад, господа, что застаю вас в прекрасном расположении духа. А я сейчас чуть не разнервничался!.. даже кричал... (садится рядом с женой). Представьте, нашей группе пришлось отвоевывать время для речи Главнокомандующего! Дали 40 минут. И это в такой момент, когда немцам ничего не стоит прорвать фронт и докатить нас до Урала!..

ДЕРЕВНИН. Ужасно! Три миллиона убитых... все наши раны... горькие слезы женщин... И для чего все это?! Чтобы отдать нашу землю и наше будущее врагам?.. Господь не допустит. Нет! Я думать не могу...

ЛИКА. Дядя Леня, дядя Леня, я тоже верю!

ДЕРЕВНИН. Иначе и жить не стоит. Если Россия погибнет, надо уходить в скиты, в пустоши... терпеть, как многострадальный Иов, и молиться... Но, господа, я знаю — в одном из частных московских домов идет совещание казачьих атаманов, и они выскажутся за предоставление особых полномочий Корнилову.

БУГРЕТОВ. Боюсь, время упущено. Аресты в тылу вызовут избиение офицеров на фронте. С марта месяца его затопляют тюками агитационной литературы, которая идет в качестве подарков для фронта от наших социалистических партий — с одной стороны, и от немцев через братание — с другой: "Мир без аннексий и контрибуций". Немудрено, что солдатская масса потеряла голову... Кому ей верить?.. Хотят только мира и разойтись по своим деревням к тому времени, когда будут землю делить.

АКСАЙСКИЙ. Что же делать?

ЛАМЗИН. Вот и я говорю: н е з н а ю!.. Нужна общая линия... Попробуем найти ее на Государственном Совещании.

БУГРЕТОВ. Что делать? Спасать в своей личной жизни то, что возможно. Таисия Ивановна, продайте ваши дома, ценные бумаги и переведите деньги за границу. Бриллианты оставьте при себе... Я бы очень хотел, Екатерина Николаевна, чтобы вы и Лика в сентябре были уже в Кисловодске.

ЛИКА. Мне не хочется уезжать из Москвы. Здесь вся жизнь! Здесь так интересно!

БУГРЕТОВ. Я предвижу множество осложнений. Было бы лучше, если бы ты с мамой были уже вдали от событий на моей даче. Какой там виноград! Какие персики!

ЛИКА. А разве ты не поедешь с нами?.. Мы будем уже обвенчаны...

БУГРЕТОВ. К сожалению, нет. Меня задерживают в Москве дела, которые надо безболезненно ликвидировать. Мне хочется приехать к тебе свободным от всех забот.

ЛИКА. Я не хочу. Я не поеду.

ДЕРЕВНИН. Не уступай, Анатолий. Венчайтесь в августе и поезжайте вместе.

ЕКАТ. НИК. Почему?

ДЕРЕВНИН. Я страдаю предчувствиями... Время иногда дороже всего. Не хочу быть дурным пророком, но или Лика и Анатолий обвенчаются в ближайшие недели, или позже, может быть, из их брака ничего не выйдет...

ЛИКА. Как странно! Я люблю Толю...

АКСАЙСКАЯ. Браво! Очень рада! Давайте пить за здоровье жениха и невесты... Мы сегодня что-то сбиваемся в сторону от радостного события.

ЕКАТ. НИК. (встает). Да. Давайте пить. Сегодня я — мать и от души желаю моим дорогим детям большого и полного счастья!

Бугретов (низко наклоняясь к ее руке). За Лику, дорогая мама, будь спокойна. Она — в надежных руках... И я сердечно-сердечно благодарю за ту радость, которую ты мне подарила.

ВСЕ. За здоровье жениха и невесты!

ЕКАТ. НИК. (дочери). Береги своего мужа, Лика. Научись его понимать — он тоньше тебя... И ты будешь счастлива... (полузакрывает глаза).

ЛАМЗИН. Я тоже нахожу... Твое счастье, дочка, что в наше бурное время ты нашла мужа — своего человека в доме... Куда бы вы ни отчалили — я буду спокоен.

ЕКАТ. НИК. Я очень рада, что ты это говоришь. Дорогие мои, доставьте мне удовольствие — выпьем брудершафт: ты, Алеша, Анатолий Федорович и я.

БУГРЕТОВ. Прекрасно! (наливает сам три бокала. Пьют и тихонько ругаются, целуются).

АКСАЙСКИЙ. Вы — прекрасная женщина, Екатерина Николаевна. (Уходит).

ЛАМЗИН (остается стоять). Пью за здоровье самой женственной из женщин — за мою Катюшу. Сознаюсь перед всеми: в это лето я в третий раз в тебя влюбился! Какая-то ты стала после болезни особенная, словно прозрачная... словно в тебе внутри горит большая лампа...

БУГРЕТОВ (морщась). Екатерине Николаевне нужно уехать из Москвы... нужно лечиться... Я бы многое дал, чтобы ваше лицо не было освещено изнутри горящей лампой!..

ЕКАТ. НИК. Да... да... мне пора уехать на юг. Я мечтаю о Кисловодске... о полном покое... буду уходить по тропинкам одна... уходить...

БУГРЕТОВ (быстро подает ей бокал). Вы слишком переутомили себя за последние дни... (Екат. Ник. берет бокал и делает с усилием глоток, ударяя зубами о стекло, на границе рыданий).

АКСАЙСКАЯ (шумно). Где же мой Женя? Куда он удрал?

ДЕРЕВНИН (подходит к Ек. Ник.). Пью за замечательную женщину, кружившую голову всей Москве. Трудно вспомнить молодость и не вспомнить вас царицей бала. Как хорошо мы с вами тогда танцовали... вальс, мазурку... хотя я и был для вас мальчишкой.

ЕКАТ. НИК. С вами было удивительно удобно танцовать... я отдыхала...

ДЕРЕВНИН. А я потом ночей не спал, вспоминая вашу нежную руку на моем плече...

ЛИКА. Мама! Мама! Сколько у тебя поклонников! А я вот не умею головы кружить. Если бы Толя не знал меня с детства, он бы, наверное, на мне не женился.

БУГРЕТОВ. Гениальная дурочка!

ЛИКА. Серьезно. И актриса из меня бы вышла плохая, потому что я не умею загораться, как фейерверк. А это надо! Вот мама моя — она удивительная.

ЕКАТ. НИК. Спасибо, детка... Мне сегодня вспоминается вся моя жизнь. Были и слезы... но я бы ее ни на какую другую не променяла! Сколько было красоты... поклонения... И я любить умела!.. И любовь

любила!.. Так выпьем же последний глоток за большую любовь!..

АКСАЙСКАЯ. Пью и я за свою любовь к Евгению... Да где же он?

АКСАЙСКИЙ (входит). Сергей Петрович Верхунов здесь с женою. Они в большом зале. Она окружена, а он сидит и злится.

ЛАМЗИН. Я забыл предупредить: он приехал на Государственное Совещание.

АКСАЙСКИЙ. Сергей Петрович просит разрешения войти и поздравить.

ЕКАТ. НИК. Как хочет Лика.

ЛИКА. Пусть войдет... (Деревнин отходит и садится на диван).

БУГРЕТОВ. Я думаю, что отказать ему неудобно. Кстати он расскажет последние правительственные новости (идет к дверям и возвращается с Верхуновым).

Явление 6-е. (Те же и Верхунов).

ВЕРХУНОВ. Приветствую вас (общий поклон). Желаю счастья милой невесте и жениху. Жена поздравляет и просит ее извинить (Бугретов наливает бокал и протягивает Верхунову. Верхунов пьет и целует руку Лики).

ЛИКА. Спасибо, дя... Сергей Петрович!

ВЕРХУНОВ (быстро поворачивается к Бугретову). Москва неисправима. Шампанское льется рекой. Мы приехали сюда после месяца, проведенного в Петрограде, и ахнули! Что здесь делается?!.. Скороспелые настроения, будирования против Правительства. Непонимание глубины и серьезности возложенных на него задач... Обожание Керенского и рядом мечта о каком-то казачьем диктаторе!.. Шепчутся, бегают, кого-то собираются в дугу сгибать, не учитывая того, что вся сила объединенной демократии стоит за Временным Правительством. Поверьте мне, оно значительно крепче, чем вы думаете!

ЛАМЗИН. Все это преувеличивают...

ВЕРХУНОВ (перебивая). Но я должен предупредить — Правительство дольше шутить не намерено. Ке-

ренский сейчас может спокойно сказать, что он опирается на весь народ. С ним — доверие страны!

ДЕРЕВНИН (спокойно). Вы сами не знаете, за кого выскажутся штыки!

ЛИКА. Но именно они решат судьбу.

БУГРЕТОВ. Лика?!

ЛИКА. Я все время работала при графине Добринской и ходила всюду, всюду, всюду...

АКСАЙСКИЙ. Вот так раз!

ВЕРХУНОВ (отводит Бугретова в сторону). Я хотел бы вас спросить о... моей первой жене. Мне очень-очень неприятно... Только что мы столкнулись с нею в дверях цветочного магазина... Все произошло мгновенно, и я, знаете, не успел поклониться... Она меня ненавидит, вероятно?

БУГРЕТОВ. Об ее чувствах мне трудно говорить... Она — несчастнейший человек, и если бы не сын...

ВЕРХУНОВ. Мальчишка меня компрометирует, как хочет! Она его испортила, избаловала, не следила за направлением... Авла Иоанновна в этом отношении совершенно права. Она возмущена...

Явление 7-е. (Те же и Юрий).
(Двери быстро распахиваются и вбегает Юрий).

ЛИКА (с места). Лучше поздно, чем никогда! (пауза).

ЮРИЙ. Лика, тетя Катя, мама застрелилась час тому назад! (падает лицом на стол и рыдает). Этого негодяя... (Верхунов ставит на стол недопитый бокал и спешно уходит).

ЕКАТ. НИК. В день помолвки Лики... Какой ужас... (закрывает лицо руками).

ЛИКА (бросается на колени перед Юрой). Юра, Юра, Юрочка... (поднимается и обнимает его за плечи)...

БУГРЕТОВ (поддерживая Екатерину Николаевну). Глоток воды, пожалуйста... (одновременно говорят Ламзин и Аксайская).

ЛАМЗИН.Какие печальные события... Куда же девался Сергей Петрович?

АКСАЙСКАЯ. Этого надо было ожидать. "Сергей Петрович" да "Сереженька!.."

ЕКАТ. НИК. Простите, господа, мы должны ехать. Так все это ужасно... Ликина помолвка!.. Что-то еще будет? (Бугретов подает ей перчатки и сумочку).

ЛИКА. Толя, ты проводишь маму? Я сама приеду.

БУГРЕТОВ. Хорошо.

ЛАМЗИН. Да. Да. Вы нас уж извините. Не выдержала бедняжка... Должно быть, воспоминания в этот день — день помолвки...

БУГРЕТОВ. Нет, встреча. Мне все теперь ясно. (Ламзин с женой и Бугретов уходят.)

ЛИКА (около Юрия). Приди в себя. Я тебя прошу... Послал ли ты за доктором?

АКСАЙСКАЯ (подходит). Может быть, только тяжело ранена?

ЮРИЙ (поднимая голову). Стреляла прямо в сердце. И доктор... И вот (протягивает листок бумаги).

ДЕРЕВНИН (берет листок и читает). "Юрочка, прости твою маму. Не могу жить".

ЮРИЙ. Она пошла заказывать цветы для Лики... Вернулась из города и прямо прошла в кабинет... Меня не было дома, ее видела только бабушка...

ЛИКА. (стоит около него и тихо плачет). Не надо плакать... Ей там лучше...

ЮРИЙ. Теперь я один и знаю, что мне делать. Сегодня я все потерял...

ЛИКА (сквозь слезы). Не говори. Мой дом всегда будет твоим домом.

ЮРИЙ (вытирая последние слезы). Ты ошибаешься... Идем, Лика!

АКСАЙСКАЯ (целуя Лику). В жизни всегда кто-нибудь бывает жертвой. Видит Бог, я желаю тебе счастья (поправляет на Лике шляпку).

АКСАЙСКИЙ. Пожалуйста, известите, когда панихиды... (Лика и Юрий уходят). Что ж, давайте двигаться и мы.

ДЕРЕВНИН. Сейчас докурю папиросу... А не думаете ли вы, дорогие, что девочка о ш и б л а с ь?...

З А Н А В Е С.

ДЕЙСТВИЕ 4-е.

МОСКВА. КОНЕЦ ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА.

Явление 1-е. (Бабушка, Екат. Ник. и Лика). (Екатерина Николаевна лежит на кушетке, кутаясь в плед).

ЛИКА (боком к зрителю, у окна, чуть раздвинув портьеры). Опять зарево! Полыхает часть неба за Никитскими Воротами.

БАБУШКА. Самый несчастный район. Не Страстной ли монастырь подожгли?

ЛИКА. Нет, бабушка. Горит где-то далеко и вбок.

ЕКАТ. НИК. Ужасная ночь! Мы не знаем, что будет завтра. Я совершенно не понимаю, о чем думают казаки. О чем думает Корнилов? Ведь пятый день, как идут бои в Москве.

ЛИКА. Мама, ты забываешь: Корнилов заперт в Быхове.

ЕКАТ. НИК. Неужели же его нельзя освободить? Он пошел бы с верными войсками на Москву и освободил бы всех нас...

ЛИКА (лицом к зрителям). Если не придет подмога, наши юнкера и офицеры не удержатся. Они едва на ногах стоят от усталости... Одно из наших трех орудий уже подбито. Боже мой! Боже мой! Вернется ли Юра? Он в самом пекле, на Никитском бульваре...

ЕКАТ. НИК. Как Временное Правительство допустило до такого страшного бунта?! Я не понимаю и папа тоже не понимает...

ЛИКА. Мама, можно мне спуститься вниз, в подъезд, посмотреть, что наши там делают? Те, кто пробегает мимо по улице, кричат иногда, что в городе делается. (Пулемет).

ЕКАТ. НИК. Нет, нет... ни за что! (приподнимается на локте). А пулеметы как будто ближе. Лика, раздвинь чуточку занавеску и посмотри на улицу.

ЛИКА (у окна). В домах ни одного огня... Пожар... А пулеметы... пулеметы ближе!..

БАБУШКА. Господи, помилуй! Зажечь бы здесь лампадку?

ЕКАТ. НИК. Зажги! Зажги!

БАБУШКА. Пойду, посмотрю, есть ли постное масло. Саши не дозвонишься (уходит).

ЕКАТ. НИК. Я так устала... и холодно... Саша запретила себя будить...

ЛИКА. Пойди, мама, приляг. Я поставлю самовар и позову тебя, когда наши вернутся с дежурства.

ЕКАТ. НИК. И в спальной холодно... (уходит).

Явление 2-е. (Лика, Саша, Алевтина Степановна).

САША (заглядывает в комнату и, убедившись, что Лика одна, вводит закутанную в платок женщину). Елена Алексеевна, с вами Алевтина Степановна разговаривать желают (уходит).

ЛИКА. Алевтина Степановна? Здравствуйте... Что случилось? Дом сгорел?

АЛЕВТИНА СТЕП. Храни, Господи! Дети у меня там.

ЛИКА. Вы Анатолия Федоровича ищете? Он дежурит в подъезде до 2 часов ночи... Как же вы детей одних оставили?

АЛЕВТИНА СТЕП. Знаю я, знаю, что Анатолий Федорович у вас... Где ему быть, как не у невесты?.. Не торопитесь, барышня. Мне с вами говорить надобно... Я сама несмелая... нелегко мне сказать...

ЛИКА. (кутаясь в маленький платок). Со мною? Я никаких хозяйственных дел не знаю, лучше — с мамой или бабушкой. А если вы о чем-нибудь просить хотите, пожалуйста.

АЛЕВТИНА СТЕП. Просить?.. Я бы у вас ни о чем просить не должна была, а вот приходится... Стукнулись!..

ЛИКА. Ничего не понимаю.

АЛЕВТИНА СТЕП. Трудно понимать... Анатолий Федорович умеет концы в воду прятать. Да не мне его судить... (подходя к Лике). У меня, дорогая моя барышня, двое ребят от него. Мне не до шуток, когда теперь он жениться собирается...

ЛИКА. Дети? Какие дети? Эти мальчуганы в кума-

чевых рубашках, что по двору бегают?.. Не может быть...

АЛЕВТИНА СТЕП. Вот тебе крест (крестится по-старообрядчески). Федулка и Сеня — они самые. Общие они у нас с Анатолием Федоровичем, никуда не выкинешь. Еще бы время другое, а сичас...

ЛИКА (делает движение встать). Не могу...

АЛЕВТИНА СТЕП. Посиди, барышня. По-хорошему тебя прошу, выслушай, не то до беды дойдет... совсем до беды недалеко...

ЛИКА. Говори.

АЛЕВТИНА СТЕП. (присаживаясь). Сердиться-то на меня не за что. Я в том и виновата, что 15 годков Анатолию Федоровичу верой и правдой служу. Я на него не в обиде. Спас он меня, когда меня из скита на большую дорогу с Ванюшкой на руках выбросили... Бездомная, обиженная... Польстился он на мою красоту да какой была, такой и взял... Ничего тебе, барышня, лгать не хочу...

Ведь когда Анатолий Федорович на стороне романы водил, я разве смела что сказать? Он же мне другой раз с пьяных глаз рассказывал... Красотки там всякие да тонкости... Что с дамами и актерками — пускай бы, а жениться... Я, может, от одного страху, что женится, сколько ночей проплакала... И вот оно пришло... Я бы и тут, веришь ли мне, Елена Алексеевна, я б и тут смолчала, да время-то какое? Анатолий Федорович обвенчался да и скок за границу. А я куды с моими тремя ребятами пойду? Денег даст? Да деньги-то каждый день меньше стоют. Мне иначе нельзя, как за Анатолия Федоровича уцепиться... Мать я, поняла ли ты меня, барышня? Я тебе по-хорошему говорю: брось. Сама брось! Говори: "Не хочу, мол, за тебя итти, другой мне милее".

ЛИКА. Что за чепуха!

АЛЕВТИНА СТЕП. А братец двоюродный иль там троюродный? Как вы его по головке гладите да целуете-утешаете? Все я от Сашеньки знаю... Еще Анатолию Федоровичу и рога наставите, а я ему — друг верный, до гроба.

ЛИКА. Кошмар какой-то (порывисто встает). А если я Анатолия Федоровича люблю? Если он мой жених? Разве я не имею на него прав? Я ему прощу все, что было... Не бойтесь, он вас обеспечит... Федулка? Сенька?.. Я о них не забуду... (пулемет).

АЛЕВТИНА СТЕП. (встает). Нет. Шутишь. Может, во мне сейчас и сердце от страха замирает — грешные такие слова выговаривать, — а только я тебе, Елена Алексеевна, личико кислотой оболью. Анатолий Федорович красоту-то твою любит. Оболью беспременно, потому выхода у меня другого нету.

ЛИКА. Угрозами меня не запугаете. Жаль мне вас, а только оставьте меня и моего жениха в покое. Он даст вам много денег. Поезжайте со своими детьми в глушь, на Волгу... А я не уступлю — так и знайте. И уходите, уходите, ради Бога! Каждую минуту может войти моя больная мать...

АЛЕВТИНА СТЕП. (комкая на себе платок, которым покрыта плюшевая шубка). Ишь ты какая... недобрая... Детишек тебе не жалко? Мамашу бережешь, как бы не разволновалась? (кричит). Хороша и мамаша! За кого дочь выдает?! За своего полюбовника!

ЛИКА. Молчи. Моя мать?.. Вон отсюда!

АЛЕВТИНА СТЕП. (испугавшись). Уйду... уйду... Не кричи на меня... Не хотела я... само сорвалось... А только не быть тебе барыней Бугретовой ни во веки веков... За-помни... (грозит Лике пальцем и выбегает).

ЛИКА (тихо). Лгунья... лгунья..

Явление 3-е. (Лика и Саша).

САША (входит). Ишь как вы человека изобидели... Сами пеняйте потом... Ровно и не знаете, что на улице людей убивают, а там и по домам пойдут...

ЛИКА. Лгунья она... низкая лгунья...

САША. И вовсе нет. Поразмыслите, так и сами сообразите, как тут все стряпалось да по какой причине...

Явление 4-е. (Те же и Екат. Ник.).

ЕКАТЕРИНА НИК. Лика, что за крик? Кто здесь был? Что ты на меня так смотришь? Девочка моя, на тебе лица нет. (хочет ее обнять, Лика вырывается).

ЛИКА. Оставь меня, оставь меня! Пусть все оставят меня в покое (быстро уходит).

ЕКАТ. НИК. Саша, кто приходил?

САША (кривляясь). Никого тут особенного не было, акромя Алевтины Степановны.

ЕКАТ. НИК. Алевтины? Где же она?

САША. Барышня ее со срамом прогнали. А разве Алевтина не человек?

Явление 5-е. (входят Бугретов и Ламзин).

БУГРЕТОВ (хмурясь). При чем тут Алевтина?

САША (делает ему нахальные глазки). Да по ночам под выстрелами женщина бегает. Покоя не знает. Хи-хи-хи. Вот тут и объяснитесь... а мне уж, сделайте милость, дайте часок соснуть. (уходя). И надоели чтой-то господские чувствия...

ЛАМЗИН (тяжело ходит по комнате и трет голову). Катя, ты не волнуйся... Надо сегодня не раздеваться, не ложиться — могут быть обыски...

БУГРЕТОВ (подводит Е. Н. к дивану). Сядь, дорогая. Надо взять себя в руки... Лишь бы удалось выиграть время...

ЕКАТ. НИК. (дрожит, кутается). Не отходи от меня... Когда ты здесь, я спокойна. Лика нам сейчас даст горячего чаю.

БУГРЕТОВ. Внизу, в подъезде, я все обдумал. Нельзя терять ни одного дня. Сегодня пятница, в воскресенье мы с Ликой обвенчаемся и в тот же день втроем уедем в Финляндию...

ЕКАТ. НИК. У Лики не готово подвенечное платье... еще вышивают в монастыре...

БУГРЕТОВ (с сердцем). Пусть венчается хоть в гимназическом мундире!

ЕКАТ. НИК. Я не возражаю...

ЛАМЗИН (останавливается перед ними). Все время думаю, где в революции была ложная предпосылка... Казалось, она необходима... Казалось, наступит золотая эра...

БУГРЕТОВ. А попали мы, коротко говоря, к чертям в болото.

Явление 6-е. (Те же и бабушка).

БАБУШКА (с лампадкой в руках). Помоги мне, Алеша, лампадку поставить. Давно в этом доме не горела лампадка...

ЛАМЗИН. За лампадку по головке не погладят... Лучше бы не надо...

БАБУШКА. За лампадку буду я отвечать!

ЛАМЗИН. Я не протестую, но... нужно же думать и о семье. (Бабушка крестится и уходит).

Явление 7-е. (Те же без бабушки).

ЕКАТ. НИК. О чем вы говорите?.. Разве мы не защищены? Кто остался в подъезде?

БУГРЕТОВ. Семь человек, вооруженных до зубов. Все наши завзятые охотники.

ЛАМЗИН. Пули вдоль улицы так и летят. Говорят, наши отброшены от Никитских Ворот и медленно отступают к Арбату.

ЕКАТ. НИК. Ах... мы ведь между Никитскими и Арбатом...

БУГРЕТОВ. Ценности у вас спрятаны?

ЕКАТ. НИК. Да. Все рассовали. Жемчужное ожерелье между стенками умывальника, а бриллианты зашиты в белье. Ликин перстень у нее в прическе.

БУГРЕТОВ. Серьги снимите.

ЕКАТ. НИК. Неужели вы думаете? (закрывает лицо). О, какой ужас... Вырвут? С мясом?

Явление 8-е.

(Те же и бабушка. Входит с маленьким подносом в руках).

БАБУШКА. Не взыщите, каждому по бутерброду. Хлеба нет... Катюша, на завтра у нас почти ничего не осталось: несколько коробок консервов, да кусок телячьих ребер, и, хоть погода холодная, на пятый день около костей немного пахнет. Рисом лучше будет нафаршировать, перцу побольше... и сытнее...

ЕКАТ. НИК. Нафаршировать?.. Тухлую?

БАБУШКА. Обмыть можно в нескольких водах, посолить...

ЛАМЗИН (В глубине сцены, в кресле). Не могу осознать... органически не понимаю... как случилось, что партия, что мозг страны так недосмотрели, так ошиблись... Революцию нельзя было делать раньше, чем через 15 лет, — при всеобщей грамотности... Да, может быть, она бы тогда и не понадобилась?.. Я совсем скольжу в непонятное... Что-то будет? Что-то будет?.. (из передней шум).

Явление 9-е.

(входят Деревнин, Аксайский и Аксайская в тулупах, Юрий — в юнкерском).

ЮРИЙ. Будет то, дядя, о чем нас не спрашивают...

АКСАЙСКИЙ. "Мозг страны" нас попросту обманул: надо было быть ближе к народным массам, понять, чего они хотят, а не сидеть по своим ученым кабинетам... Настрочили революцию за пару месяцев до полной победы на фронте... Сейчас ясно... Умники!

АКСАЙСКАЯ. Женя, сейчас не время упрекать. И мы красные банты носили... Да что? Вся Москва...

ЛАМЗИН. "Мозг страны" не желал того, что происходит сейчас...

АКСАЙСКИЙ. Очевидно, кто-нибудь другой "желал", да вы не доглядели!

Явление 10-е. (Те же и Лика вбегает).

ЛИКА. Все здесь? Все... все... Таисия Ивановна, дорогая (обнимает Аксайскую). Как я рада (нервно смеется). Дорогая... Вы были там, куда меня не пускали. Вы им носили есть в окопы... Дайте я растегну вам полушубок.

АКСАЙСКАЯ. Хорошо, сниму. Побудем у вас да и пойдем. Многое до утра еще нужно сделать. У нас в доме и здоровые, и раненые... (снимает тулуп и бросает на стул). Всех переодеть, попрятать...

БУГРЕТОВ. Неужели все кончено?

ДЕРЕВНИН. Да. Юнкера бросают ружья и разбегаются.

ЕКАТ. НИК. Как вы прошли?

ДЕРЕВНИН. Бог пронес. Зря бьют из пулеметов.

Переулки пустые. Одни перепуганные члены домовых комитетов в подъездах. Так тех ни за какие коврижки не заставить выйти на улицу!

ЛИКА. У нас в доме 16 вооруженных...

БУГРЕТОВ. Нет ни малейшего желания сражаться из-за Керенского.

ЛАМЗИН. Не можем же мы, в самом деле, участвовать в уличных боях... Нужна сноровка...

АКСАЙСКАЯ (гневно). А мальчики в 15 лет могли?!.. Кто защищал Москву?

ДЕРЕВНИН. Тысячи две с половиной офицеров, юнкеров, гимназистов да 800 ударников, прибывших с фронта.

БАБУШКА. Вчера их было видно из окна. Серые все такие, в солдатских шинелях...

ЛИКА. Сегодня их уже не было.

АКСАЙСКАЯ. Надо было видеть тех озверевших людей, что лезли в окопы. Солдаты попрятались в казармах. Ожидают, чем кончится. Они меньше всего согласны воевать.

ДЕРЕВНИН. В руках у большевиков осталась артиллерия, и в последние дни они были численно в десять раз сильнее нас... Командующий войсками растерялся: от его колебаний многое зависело... На нашей стороне было только три орудия, которые смельчакам удалось выкатить из Кремля... Да что говорить? Петербург не встал на защиту Временного Правительства, не захотел бороться... Срам! Ужас!.. Все сгнило, как трухлявый гриб...

АКСАЙСКАЯ (ложится грудью на стол, спрятав лицо и плачет). В Москве... людей нехватило!..

ДЕРЕВНИН. Мы посылали к генералу Брусилову, просили взять на себя командование, но он наотрез отказался.

ЮРИЙ. Подлец!

ЛАМЗИН. Я прошу тебя так не выражаться.

ЛИКА. Трус! Кукольный генерал!

ЛАМЗИН. Он один из самых талантливых... Надо быть объективным... У него могут быть свои убеждения...

ЮРИЙ. Сейчас могут быть только два убеждения: за или против большевиков!

ЛАМЗИН. Я, кажется, больше не хозяин у себя в доме...

АКСАЙСКИЙ. Довольно ругаться. Поздно. Не поможет. А вот скажите мне, что теперь делать?

ДЕРЕВНИН. Для меня вопрос решен: я еду на Юг. По слухам, генерал Алексеев у Каледина на Дону и формирует армию. С завтрашнего дня начну ходить по родственникам и нашим тузам — собирать деньги. Много их понадобится для армии.

ЮРИЙ. И я поеду с вами.

АКСАЙСКИЙ. Я дам, что смогу (берет жену за руку). Очнись, Таисия. Слезами не поможешь. Сообрази-ка лучше, на что мы с тобой еще годимся?

АКСАЙСКАЯ. Ты и сам знаешь. Все отдам: камни, золото, ризы с икон сниму... чтобы спасти Россию. Денег у нас почти нет — все в Государственном Банке.

ДЕРЕВНИН. Вам нужно уезжать. Вы скомпрометированы. До вас доберутся в ближайшее время.

АКСАЙСКАЯ (поднимаясь). Идем, Юра, к нам. Место найдется. Преобразим тебя до утра и в Воронеж отправим, а там дальше проберешься сам.

ЮРИЙ. Спасибо. Я сейчас. (подходит к Лике на авансцене). Лика, мы, может, видимся в последний раз. Ты будешь за границей, а я на Дону, в армии, в боях...

ЛИКА. Нет, Юра, я замуж не выхожу и никуда из Москвы не уеду...

ЮРИЙ (ошеломленный). Как? Совсем не выходишь?

ЛИКА. Совсем. Сегодня же откажу. И мама ничего не сделает. Кончено!

ЮРИЙ. Слава Богу, Лика дорогая, будущее за нами. Мы молоды. Мы еще увидимся.

ЛИКА. Иди, иди скорее, пока не рассвело. Я буду молиться... Дай знать. Я убегу.

ЮРИЙ. Мы еще вместе вернемся в освобожденную Москву.

ЛИКА. Таисия Ивановна, он у меня единственный брат...

АКСАЙСКАЯ. Понимаю, понимаю... Прощайте, Екатерина Николаевна. Даст Бог, свидимся и не в такой черный час.

ЕКАТ. НИК. Надо уезжать как можно скорее. Куда вы поедете?

АКСАЙСКАЯ. Никуда, голубчик. Мне из Москвы пути нету. Я в ней родилась; с нею вместе, коль доведется, и пропадать буду.

БУГРЕТОВ. Я вас предупреждаю, Таисия Ивановна, все ваши дома могут быть конфискованы и обращены в коммуну. Я вас уже не раз уговаривал их продать.

ЕКАТ. НИК. Евгений Александрович, уговорите жену бежать из Москвы.

АКСАЙСКАЯ. Пусть он едет в армию. Я не буду удерживать.

АКСАЙСКИЙ. Не обижай меня, Тася. Вместе жили, вместе и умирать будем (прощаются и уходят. Вместе с ними уходят Лика, Юрий и Деревнин).

Явление 11-е. (Ек. Ник., Ламзин, Бугретов).

ЛАМЗИН (Бугретову). Вы панику нагнали. Совершенно ясно, что большевики больше двух-трех недель или, скажем, месяцев продержаться не могут. Ленин и Троцкий — не государственные люди. Интеллигенция воспротивится, объявит бойкот историческому абсурду.

БУГРЕТОВ. Хорошо, что нас в это время здесь не будет. Деньги в Швеции, и я счастлив — ни Лика, ни ее мать никогда нуждаться не будут. А жить можно везде. Но где же Лика?

ЕКАТ. НИК. Не убежала ли она в подъезд? Алеша, пойди скорее, приведи ее. Какое безумие! Что ей там делать? Сегодня все в бреду...

ЛАМЗИН. Иду, иду... (делает тяжелое движение подняться).

БУГРЕТОВ. Нет. Я ее сам приведу (уходит).

Явление 12-е. (Ек. Ник. и Ламзин).

ЛАМЗИН (садясь рядом с женой). Катя, мы сейчас вдвоем... Я должен тебе сказать... ты поймешь. Ме-

ня все эти дни мучает нестерпимая тяжесть... тяжесть ответственности. Нет-нет. Я здесь полчаса тому назад клеветал на партию... Дело не в ее ошибке. Нагрянула стихия... огромная злая волна. И нашим врагам, и нашим союзникам нужно было развалить Россию, чтобы не существовало массива на Востоке... А мы — как дети... совершенно не искушенные в политической жизни дети... Всегда за нас решало правительство, и ходили мы на помочах, или артачились и били ножками... Как все мучительно глупо... если только глупо... Но ничего, перетерпим короткое время, а там горизонт прояснится, и вещи снова станут на свои места... Не могут же они не стать?.. Лишь бы не было крови...

ЕКАТ. НИК. Ужасно! В такие дни, Алеша, я тебя оставляю... Но тут будет бабушка. Она твои привычки знает.

ЛАМЗИН. Дело не во мне. Поверь, если бы не ты и не девочка, я бы вышел на улицу и подставил свою голову под пули... хотя бы и без пользы... Потому что пережить, знать, что на тебе ответственность за этих подстреленных мальчиков-юнкеров, за тысячи жизней... и, может быть, позорный для России мир...

ЕКАТ. НИК. (берет его голову в свои руки). Алеша, прости меня. Мне так тяжело. Я тебя никогда не переставала любить...

ЛАМЗИН. Это я у тебя должен просить прощения. Забрасывал тебя и дом... Все напрасно!..

ЕКАТ. НИК. Ты приедешь к нам при первой возможности... Только кончай поскорее эти твои ужасные политические дела. Ты никогда не выходил из кабинета. Никто из нас не знал, чего хочет народ... не знал, что такое революция... Ты не виноват, Алеша... — все, все мы виноваты...

Явление 13-е. (Те же и Лика, Бугретов).

БУГРЕТОВ. Вот вам. Сидит в подъезде и учится у отставного штаб-ротмистра курить... У нее нет нервов.

ЕКАТ. НИК. Да разве ты не видишь, что она вся дрожит?

ЛИКА. Мне там было очень хорошо... Тихо на улице... Ротмистр рассказывал, как прокутил три имения. Всегда себя упрекал, а теперь радуется...

БУГРЕТОВ. Лика, нам нужно поговорить (жестом приглашает ее на авансцену, пододвигает стул к креслу. Лика садится в кресло).

ЕКАТ. НИК. Алеша, побудь со мною. Мне жутко. (берет его руку и прикладывает к груди). Ты слышишь, как сердце бьется?

БУГРЕТОВ. Ты сегодня избегаешь меня... Я бы не хотел сейчас, ночью, вести длинные объяснения... Ты, кажется, недовольна, что я не вышел на улицу?.. Мне рано утром надо пойти к себе домой, отдать распоряжения, взять бумаги... Будь взрослой, Лика!

ЛИКА. О, я выросла за одну ночь!

БУГРЕТОВ. Мы стоим над пропастью и можем покатиться... Каждый день на учете. Я должен до воскресения подготовить нашу свадьбу и отъезд. Я уже говорил с твоей матерью... Мы едем втроем.

ЛИКА. А папу и бабушку бросить здесь на погром?

БУГРЕТОВ. Папа сам не соглашается уезжать. Что за тон, Лика, и какими глазами ты на меня смотришь?

ЛИКА (опуская голову). Толя... Анатолий Федорович, я в самом деле хотела быть счастливой с вами (сдерживает слезы).

БУГРЕТОВ. Нельзя же так приходить в отчаяние. Положись на меня. Мы еще будем счастливы. (берет ее за руку).

ЛИКА (освобождая руку). Ты не понял. Я никогда... Анатолий Федорович, я никогда вашей женой не буду. Вы обманули меня... и мою мать тоже. Да, и ее!

БУГРЕТОВ (выпрямляясь). Тут что-то странное... Я тебя не понимаю. Перестань глупить. Мне сейчас, как никогда, нужна подруга, жена, свой человек. Послезавтра свадьба, и никаких разговоров!

ЕКАТ. НИК. (со своего места). В чем дело? Ссоритесь? Алеша, принеси мне теплую шаль — она в сундуке... Поройся как следует... Мне холодно...

ЛАМЗИН. Если в сундуке, так нафталином будет пахнуть... Что ты, Катюша...

ЕКАТ. НИК. Нет, нет. Достань, вытряхни... Я иначе не могу согреться. Да иди же!

ЛАМЗИН. Но я тебя предупреждаю... (уходит).

БУГРЕТОВ (злобно). Лика только что заявила, что не желает быть моей женой...

ЕКАТ. НИК. Она не могла этого сказать! Она шутит... Лика, дай мне руку, я встану...

БУГРЕТОВ. Со мной еще ни одна женщина так не обращалась! Сейчас, когда мне...

ЕКАТ. НИК. Успокойся... Лика, конечно, говорила не серьезно...

ЛИКА. Мамочка, прости меня, мне тебя ужасно жаль, но я иначе не могу. Он — лгун.

БУГРЕТОВ. Я требую объяснения!

ЛИКА. Мама, у этого господина уже есть семья... и жена, и дети.

БУГРЕТОВ. Ты... ты шпионила? О, маленький змееныш. Ты, кажется, очень ревнива. (подходит к Лике вплотную и берет ее за плечи). Замолчи. Потом. Прошлое надо забыть. Мы начинаем новую жизнь.

ЕКАТ. НИК. Что она сказала?! Анатолий, говори ты. Скажи, что это вздор...

БУГРЕТОВ (целует руки Екатерины Ник.): Совершенный вздор. Не волнуйся, мамочка. Ничто не изменилось. Послезавтра мы венчаемся и едем — все втроем.

ЕКАТ. НИК. Ну, слава Богу! Нельзя же так шутить... У меня сердце похолодело... Лика, как тебе не стыдно?!

ЛИКА (колеблется). Мама, мама, что ты делаешь? Нет. Невозможно... Если я пойду под венец, Алевтина обольет мне лицо серной кислотой... Она поклялась...

БУГРЕТОВ. Я с ней расправлюсь.

ЛИКА. Не смеете. Она — мать. Она все терпела — всех ваших дам, актрис...

ЕКАТ. НИК. (приподнимаясь). Всех дам?.. Актрис?.. Что же это такое? (падает в кресло, не сводя глаз с Бугретова). Обманывал?.. Обман на каждом шагу? С ума сойти!.. (хватает себя за голову).

ЛИКА. Мама, опомнись!

БУГРЕТОВ. Видишь, что ты наделала? (снова хватает ее за плечи и трясет). (Лика в остолбенении. Бугретов между двумя женщинами. Екатерине Ник.). Мамочка, Лика неопытна. Она все путает. Нет ничего плохого. Все уляжется. Послезавтра, нет, через два дня — в Швецию... (Лике). Речь идет о жизни твоей матери. Здесь вы погибнете обе...

ЕКАТ. НИК. О, лучше погибнуть...

ЛИКА (стряхивает руку Бугретова с плеча. Зло.). Уходите!.. В Швецию вы поедете с женой и детьми.

БУГРЕТОВ (опускаясь на одно колено перед Е. Н.) Екатерина Николаевна, прощения я буду просить потом... искупать... Теперь некогда. Сейчас надо решать. Уговорите Лику. Вы — мать. Речь идет об ее жизни...

ЕКАТ. НИК. (с трудом). Нет. Я не отдам мою девочку в грязные руки...

ЛИКА. Не мучайте маму. Уходите.

БУГРЕТОВ (поднимаясь). В последний раз...

ЛИКА. Вон!

БУГРЕТОВ. Меня? Гоните? Ну, хорошо же. Запомню на всю жизнь... Еще встретимся, голубушка... (быстро идет к двери).

ЕКАТ. НИК. Анатолий... Анатолий... одну минуту...

БУГРЕТОВ (в дверях оборачивается). Так-то вы научили Лику любить меня?!.. Если меня сейчас подстрелят — вы обе будете виноваты!.. (уходит).

Явление 14-е. (Екат. Ник. и Лика, позже Ламзин).

ЕКАТ. НИК. Все кончено. Все...

ЛИКА. Мама, как ты могла?..

ЕКАТ. НИК. Я хотела спасти тебя и семью... Нет. Не надо. Я не переживу... (протягивает руки к Лике) Лика, беги, зови его. Еще успеешь...

ЛИКА. (хмуро). Нет.

ЛАМЗИН (входит с шалью в руках). Вот она! Но я тебе говорил, Катя, что шаль будет пахнуть нафталином. Оно так и есть... Хоть бы ты меня когда-нибудь послушалась... А где же Анатолий Федорович?

ЕКАТ. НИК. Ушел... ушел навсегда... Ты себе представить не можешь... Нет, это невозможно! Вы все хотите довести меня до сумасшествия!.. Как все запуталось, запуталось... запуталось...

ЛАМЗИН. Лика, я ровно ничего не понимаю. Что тут сегодня происходит? Твоя ошалелая горничная, Катя, сейчас, когда я попробовал ее разбудить, наговорила мне таких дерзостей... нет, таких несуразных вещей, что... что я в них и разобраться не могу... Не могу и не хочу!.. Но ты, Лика? Дитя мое, что здесь происходит?

ЛИКА. Когда-нибудь поймешь... А лучше — никогда! Папа, уведи маму в спальню. Ей плохо. Ей сейчас очень плохо.. (За сценой пулемет).

ЕКАТ. НИК. Ужасная ночь... Неужели она наяву, и я не проснусь?.. Бедная моя девочка, что ты натворила!.. И все мы — бедные.. (плачет).

ЛАМЗИН (обнимает и поднимает ее). Пойдем, Катюша. Как-нибудь нужно пережить... Мы не одни... Вероятно, три-четыре недели будут очень тяжелы — полны произвола толпы. Долго большевики не продержатся, иначе наступил бы экономический крах, голод!.. Это невозможно...

ЛИКА. Ах, папа! Крах или не крах?.. Уже крах! (подходит к окну, смотрит за занавеску и отшатывается). Уходите на другую сторону дома, в бабушкину комнату... Только что так блеснуло! Разрывы все ближе и ближе...

ЕКАТ. НИК. Горит и рушится... как в бреду...

ЛИКА. Папа, дай маме ее лекарство.

ЕКАТ. НИК. (около двери). Дитя мое, дитя мое, что с тобой теперь будет?!

ЛИКА (сурово). Не бойся... Я справлюсь... Мне будет хорошо, очень хорошо, мама!.. Я не останусь здесь... уеду к Юрию, на Юг, в армию... Мы молоды... Мы будем бороться... за нас за всех... за Россию!..

(Пулемет совсем близко. Лика крестится и тушит свечу.)

З А Н А В Е С.

ТРОЕЧКА

Поезд Москва—Ростов-на-Дону мчался, поедая пространство, словно торопясь пробежать зону опасности, возможного насилия, крови и грабежа.

Мимо окон неслись ветви оголенных деревьев глубокой осени, по стеклам струилась пряжа дождя. На станциях ночью и днем раздавались крики, угрозы наседавшей на переполненные вагоны толпы. Чей-то истошный голос требовал "итти бить машиниста", "бить начальника станции", а вслед затем — непечатные слова и проклятия.

Москвичи, горсточка петроградцев, солдаты распадающегося фронта и еще многие и многие из разнообразных россиян тесным месивом залепили все отделения, коридоры, площадки, а смельчаки ехали и на крышах вагонов. Всем до зарезу нужно было спешить: кому в родные места, к семье; другим — по делам и обязанностям, а третьим — спасать от нагрянувшей революции себя и детей, свой скарб, туго уложенный в чемоданах, корзинах и узлах.

И был в этом поезде только один затаившийся вагон, замаскированный так, как будто и в нем негде иголке упасть: площадки и окна зашитыми в рогожи кулями заложены, тут и там шторки наглухо спущены, а на стенах вагона магическая надпись: "Международного Общества спальных вагонов". Значит, не трогай!

Позади оставалась Москва в бреду и растерянности только что совершившегося "Октября". Голодающая, озябшая старая исконная столица, Голова Земли.

Бежал от нее поезд скорым бегом мимо хмурых ноябрьских лесов и улегшихся на зимнюю спячку сел, все вперед и вперед на юг, к восточному крылу Украины, где еще тонкой корочкой держалось спокойствие.

И бежали вместе с поездом страх, сумятица и неразбериха — день и две ночи до самого Воронежа.

А в Воронеже встретило солнечное утро, тепло укутанные бабы с домашними хлебами и жареными курицами, с веселым говорком и прибаутками, чего Москва уже давно не видала. Пошла тишь да гладь в

сытых плодородных полях. За полутора суток порассыпалась изнервничавшаяся публика, разошлись солдаты по долгожданным селам и деревням. Стал поезд спокойно и мерно отсчитывать версты пути.

Ожил и таинственный вагон, в котором было всего-навсего двадцать пять человек. Забегал по коридору тоненький мальчик с английской собачкой, как выскочивший из рамы портрет работы Генсборо; зашевелились в своем отделении три красавицы-девушки, невесты-княжны. При них — гувернантка англичанка.

На пороге купэ остановилась княгиня-мать. В руках держала маленький сверток в платке льняного батиста.

Улыбнулась: "Слава Богу! Мы спасены... А кто хочет увидеть самое драгоценное из того, что мы вывезли, идите сюда".

Собрались по ее зову три родственных именитых семьи с родословными, уходящими вглубь веков: женщины, дети, два старика и несколько волею судеб попавших к ним пассажиров, обыкновенных смертных.

Села. Развернула платочек, и на ладони у нее очутилась крохотная тройка несущихся лошадей с коляской и лихим кучером, натянувшим поводья.

— Из серебра, — сказала княгиня: — Дед моего мужа посылал за границу учиться своего крепостного. Не было равного ему по тонкости работы. Смотрите, у миниатюрных лошадок и подковки с гвоздями, и на шапке у кучера павлиньи перья. Вся коляска не больше половины скорлупки грецкого ореха...

— Какой размах! Какое движение! — воскликнул художник: — Шедевр. Изумительно!

— Мой муж дорожит этой вещью, кажется больше, чем драгоценными камнями. Он недавно съездил в имение, чтобы привезти "Троечку". И знаете, что он мне сказал?..

— Троечка спасена. Я спокоен. Теперь имение может гореть...

Художник смотрел на точеную руку и тройку коней, разбежавшихся по линиям ладони, на прекрасные лица княгини, княжен и думал о полотнах Нестерова:

тот же тонкий рисунок глаз и бровей, те же нежные краски и... та же нереальность. Особый мир!

В эту ночь поезд Москва — Ростов приближался к цели. Художник не спал. Вставали, сплетаясь, образы пережитого дня и далекого прошлого:

Три княжеских семьи... Владетельные предки выбирали себе в жены красивейших девушек... Закон подбора.

Столетия власти, господства, роскоши и... ответственности. Да, ответственности!

Враг на границах — князь в латах на коне впереди своей дружины — защитник и собиратель Русской Земли.

В боярской Думе он склоняет свою голову над письменами государственной важности. Несет службу около царского трона. Князь — воевода, советник, окольничий, хозяин полей и лесных угодий.

Скрутил царь Петр боярскую вольность, отправил учиться в заморские страны, заставил работать.

Уже не монастыри, а знать — проводник просвещения.

Дала она народу в девятнадцатом веке полководцев, министров, ученых, писателей, композиторов и... революционеров.

В начале двадцатого уложила гвардейские головы на полях сражений Мировой войны...

А что же сейчас, сегодня, в дни слома вековой государственной власти? Где сила? Где воля к жизни? Разве не прозвучали при нем слова отречения: "Троечка спасена. Теперь имение может гореть..."?

СОСЕДИ

Однажды в истории прекратились будни, и наступила революция.

Множество гостей позвали на пир в ее честь. Были здесь сирые и убогие, были миллионеры и властители дум.

По какому-то, как говорили в толпе, стечению обстоятельств церемониймейстером празднества был избран Шут.

Он произнес великолепную приветственную речь:

— Мы, — сказал он, — перевернем события и покажем подлунной, что несовместимое совместимо. А для доказательства еще сегодня сделаем маленький опыт. Я перетасую пригласительные карточки присутствующих так, что почти у каждого из вас окажется дотоле невиданный сосед. Друзья, пожалуйте к столу!

Прекрасная дама — Отмена Смертной Казни — очутилась в обществе господина в красном плаще. Он ел за двоих и усмехался в бороду.

Деликатная женщина не знала, как себя держать. Она привыкла к поклонению профессоров и адвокатов, людей в сюртуках и фраках (ей подносили вирши юные поэты), а у ее соседа из-под длинного плаща виднелись грязные волосатые ноги, заткнутые в рваные ботинки.

Отмене стало нехорошо. Она не могла кушать, и лишь мысль о равенстве заставила ее заговорить:

— Кто вы такой, мой дорогой сосед?

Он поднял на нее тяжелый взгляд: — Меня должен знать всякий. Я — Палач Революции!

— Не говорите мне глупостей! — бросила дама запальчиво: — В век свободы и братства...

— Свобода и братство? На складе инструментов их не имеется. Вот, разве, в типографии?.. Верно, гражданка, что и рыба на приманку идет, а чем люди лучше рыб? — беспардонно перебил ее сосед.

— Какая гадкая шутка! — вскричала женщина. —Неужели для вас жизнь человека не дороже всего?!

Но тут пришла очередь удивиться соседу. Он задумался.

— Скажите, — робко спросил он, — а разве бывает о д и н человек? Меня учили считать только на тысячи, десятки, сотни тысяч и миллионы...

— А вы-то? А вы-то будто не "один человек"? — возмутилась Отмена.

— Не-е-ет... Мне сказано, что я — дробь... "один из первой тысячи..."

МОРСКОЙ СКЕПТИК
Сказка.

Неуловимая, бесплотная пала на дно морское человеческая душа. Ангел жизни нес ее на Землю и нечаянно уронил над пучиной океана.

Душа была без глаз и без тела, но обладала голосом и всеми чувствами взрослого человека. Она очутилась в ровном серебристом свете, шедшем от растений и мягкого, как бархат, песка. Вокруг нее расстилался прекрасный мир; росли румяные коралловые деревья, распускались удивительные искрящиеся звезды, о которых она еще не знала, цветы ли они или живые существа.

В воде, стоявшей тихо, как воздух в ясный летний день, стремительно проносились маленькие рыбки, серьезно и настороженно глядя вперед.

Душа не выдержала переполнившего ее восторга и протяжно вздохнула. И тотчас же то, что невдалеке от себя она приняла за неподвижный благородно-серый камень, зашевелилось и спросило беззвучно, но понятно: "Разве в моем присутствии есть еще кто-нибудь, обладающий правом выражать свои чувства?"

— Да, да, — ответила душа: — это я, по ошибке не попавшая на твердь. Я осталась без маленького тельца и без мягкой колыбельки, о которых мне пел Ангел.

— А, так ты земнородная! И очутилась в морском царстве? Удивительное происшествие для тех, кто еще способен удивляться.

— Неужели же ты никогда не удивляешься, и ничто тебя не поражает?

— Что за вопросы? Очевидно, ты не знаешь, с кем имеешь дело. Я — сам Морской Скептик.

Душа хотела вежливо ответить, но промолчала. Существо, подобное камню, лежало распростертым своим широким брюхом на огромной окаменевшей губке, выставив вперед плоскую сухую голову, на темени покрытую лиловой чешуей, и выдвинув остроконечные плечи.

— Я хотела бы знать, все ли Морские Скептики так худы, как ты? — скромно спросила Душа.

— Хм, — иронически усмехнулась важная морская особа: — при том количестве мудрости, которое наполняет мою голову и хвост, и при том количестве разных деликатных блюд, которые я съел, трудно быть толстым. Само собою разумеется, что чересчур деликатные вещи часто бывают и ядовитыми. Я не охочусь сам. Мои гонцы приносят мне яства за тысячи миль, иногда с опасностью для жизни доставая их из далеких морей и даже озер! Я не раз уже отравлялся...

— Так почему же ты ешь такую гадость?

— По рангу. Я ношу высшее ученое звание Морского Скептика. Знай, несчастная человеческая душа, что я один из ста тысяч, управляющих дном океана. Мы правим и будем править, пока огонь не упадет с неба... но до этого еще далеко, и моя тысячелетняя жизнь успеет кончиться... А после нас — хоть пламя!.. Пусть тогда океан кипит до глубины, как его поверхность в бурю, пусть иссушится плодородный песок, и умрет в цвете юности сама Морская Царевна...

Душа оглянулась по сторонам и увидела, как вдали началась беспощадная охота довольно большой тупорылой рыбы за целой стайкой рыбок-игрунчиков. Она их поглощала десятками.

— Подожди! — крикнула Душа: — я должна прийти им на помощь.

Скептик ворчливо окликнул ее:

— Не мешай ничему течь своим порядком. Жрет

Мимуна младшую братью — пусть жрет. Мимуну, вероятно, вскоре сожрет Гипон.

— А что такое Гипон?

— Гипон — ползающее и плавающее животное. Он может в течение суток съесть 100 таких рыб. В этом закон равенства между рыбами.

— А кто съест Гипона?

— Неважно. Будет и он съеден.

— Хорошо, — с тоскою возопила Душа. — Есть ли у вас на морском дне существа, которых никто не ест?

— Конечно. Это наша знать: сто тысяч. О них я уже сказал тебе. Нас никто не смеет трогать. Мы рождены для тысячелетней жизни в холе, неге, красоте и мудрости. В этом высший закон о неравенстве.

— Да понимаете ли вы, что такое красота и мудрость?

— Ты, кажется, хочешь быть бо́льшим скептиком, чем я. И так как ты действуешь мне на нервы, то я принужден буду прогулять тебя по дну океана. Движение уничтожает раздражительность.

Душа вздохнула так, что закачались коралловые поросли, и Морской Скептик от неожиданности выпустил пену изо рта:

— Я постараюсь вразумить тебя прежде, чем ты сделаешь очередную человеческую глупость.

Неравная пара отправилась в путешествие, которое длилось по земному счету три года.

Чего только ни показал Морской Скептик своей судьбой посланной спутнице! Пред ней предстала вся сказочная ширь и красота морского царства: его леса и долины, его столицы в зарослях гибких растений, где во дворцах из водяных столбов тонких цветов радуги в полной неподвижности стояли огромные рыбы-правители и ждали, чтобы по их приказанию живая снедь приплыла и сама отправилась в лениво открытую пасть.

— Но это ужасно! — возмутилась Душа. Морской Скептик остался доволен: "Я чувствую превосходство нашей дисциплины над вашей — земной. Сколько мне приходилось слышать, у вас там бывают бунты и революции, а у нас они невозможны".

" Разве у рыб нет никаких чувств?

— Есть, конечно, но они во внимание не принимаются. Правители располагают электрическими и магнетическими токами и могут на расстоянии убить кого захотят.

— Я думаю, что лучше быть убитым, чем самому проехаться в огромный холодный желудок.

— Думать запрещается под страхом пытки, — заявил Скептик, насмешливо поводя белыми глазами: — Думают только высшие. Если бы народу позволили думать, он вскоре бы догадался, что между двумя нашими основными законами — "О равенстве для всех" и "О неравенстве высших" — лежит глубокая пропасть.

Скептик показал Душе и морскую мечту о прекрасном — Морскую Царевну, заключенную во дворец из сияющей золотой слюды. Толпы приплывали на поклонение и любовались ее головкой светлоокой девушки, золотисто-зелеными косами и серебристым телом с пышным алым хвостом. Царевна сидит под семью замками до того дня, когда на ее прекрасном лице появятся первые три морщины.

— А тогда?

— Ее убивают, а место ее занимает новая юная русалочка.

— И морской народ не жалеет о прежней?

— О, ему разрешается отправляться на кладбище и там глядеть на огромный царский лопух, посаженный на ее могиле. Мы всегда стараемся проложить подходящее русло для остатков рыбьей сентиментальности.

— Зачем же жить, когда ни думать, ни чувствовать нельзя? — возмутилась Душа.

— Для того, чтоб наслаждаться. Я говорю о нас. Остальным же мы предоставляем полную свободу в счастливом недумании итти навстречу своей судьбе.

— То есть быть сожранными?

— Или изнуренными непосильной работой: полировкой песка — он полируется собственным телом, — борьбой с гадами, насекомыми, пробиванием океанских джунглей . . .

Что всего больше и горше поразило человеческую душу — это та закономерная тупость, которая царила на дне океана. Живые существа всех сортов и цветов двигались по установленному порядку, каждый настороженно вглядываясь в окружающий мир.

— Как вам живется? — пробовала спрашивать Душа то того, то другого обитателя.

— Отлично! — был один и тот же ответ. — Мне удалось сегодня съесть столько-то...

Скептик усмехался: "Наша воспитательная система действует безукоризненно уже тысячи лет".

— Мне скучно! Отвратительно! — рассердилась душа человека: — Покажите мне что-нибудь, что напоминало бы землю. Я хочу знать, как живут люди.

— Нет ничего проще. — Морской Скептик привел Душу на то место океана, где на поверхности проходила большая проезжая дорога, и показал ей тонущие корабли.

— На земле идет вечная война, — объяснил он: — люди всегда разделяются на два стана: одни дерутся за цвет своей кожи, другие за за облюбованные ими режимы.

— Как мне это близко, — сказала Душа. — Как бы я тоже хотела участвовать в борьбе за "Закон равенства всех перед законом"!..

Скептик рассерженно фыркнул:

— Вот для чего я провел с тобой три года?! Но у тебя, к счастью, нет тела, моя маленькая дурочка, и никто тебя не возьмет в ряды солдат. Теперь ты видела все, — удовлетворенно добавил он.

— Нет, — упрямо возразила Душа. — Ты скрыл от меня главное — тайну смерти. Если бы ты захотел умереть раньше, чем тобою овладеет дряхлость, что бы ты должен был сделать?

— Подняться до поверхности моря, вдохнуть воздух и превратиться в пену. Эту пену прибьет к берегам жгучей, ненавистной земли...

— В таком случае прощай! — крикнула Душа человека и одним взмахом поднялась со дна океана.

ОРЛЫ

Сказка.

Во время одной из мировых катастроф образовалась глубочайшая пещера, и в ней остался жить один только птичий и насекомый род.

Света в пещере почти не было. Сквозь щели в высоком своде струились упрямые тонкие лучи, но разбить мрак, рождаемый закрытой полостью земли, они не могли.

В пещере всегда чуть брезжило, а в лунные ночи с одной стороны камня, повисшего между двумя столкнувшимися скалами, играл голубоватый полумесяц.

Легенды и предания говорили, что когда-нибудь отпрыск орлиного племени поднимется в далекую высоту и сбросит камень. Тогда пещера наполнится светом из огненной чаши солнца, и все, кто захочет вылететь, найдут свободу и радость в широком мире.

Но ... это будет стоить жизни многим. Камень, падая, образует обвал ...

Сначала пернатые тосковали, чтили орлов за силу, могущество и будущий подвиг. "Скоро ли? Скоро ли вы освободите нас?" — спрашивала толпа.

В орлиную честь слагались песни, которые соловьи исполняли на всех торжествах.

Время шло. В темноте и однообразии души постепенно мельчали, и становилось жутко при мысли, что солнце глянет жестоким взором и опалит крылья, покрытые слоем пыли.

— Можно ослепнуть! Наконец, лишиться своих близких и самим умереть, — так говорили многие. Народная мудрость постановила:

— Берегитесь орлов!

Только сами орлы из поколения в поколение передавали старый завет: — Сбрось камень! — и взлетали...

Кто разбил себе грудь о колючий гранит, кто упал с раздробленной головой, а кто был убит ястребами и воронами, не желавшими света.

— Не для того мы годами дежурили у щелей и

затащили в пещеру маленьких зверушек для питания, чтобы в один миг потерять свое достояние, — убеждали птичий народ его вороны-управители.

— Орлов надо оберегать. Они знатны, они носители чести, но давать им волю нельзя. В их сокрушительной крови рок и несчастье. Пусть живут в почете.

Прошли века. Орлиное племя вымирало; остались лишь две семьи. В одной из них было два брата. В другой старики вырастили единственную дочь.

Старший брат жил угрюмым отшельником. Он ненавидел пещеру, но не меньше ненавидел и свое предопределение.

Младший брат ни о чем не думал. Он был красавец обольстительных манер и очень рано женился на прекраснейшей из ворон. Молодая орлица ему не нравилась. Она была желтоглаза и гневлива.

Старики горевали, что дочку придется выдать за чужака, за слабняка — ей не в пару... Уж у нее ли не было породистой головы и стальных ног? А кто мог сравниться с ее изящным и четким полетом?

Дома орлов стояли на скалах. Там же был и музей (куда современники почтительнейше складывали перья погибших героев) и кордегардия для стражи, охранявшей пути в высоту.

Страже издавна был отдан приказ:

"Убивать на месте".

Но в последние годы она мирно дремала — казалось, лететь было некому. Старший орел погружался в свои переживания, младший — наслаждался порядком и семейным счастьем. Его дети, превосходные чернохвостые орлята, обладали гортанным голосом своей блестящей, как агат, матери.

Угрюмо замкнулся в своем доме старший брат. Едва всплывет мысль о борьбе, о счастии, о любви — холодное сердце ее отвергает. Ни жизнь, ни власть, ни ласка. Так что же? — Глухая тоска.

Пусть сердце не будит его среди ночи беспокойным стуком в груди:

— Пора! Лети!

Нет, ради пошлого пернатого народа он не полетит!

И ради нее — прекрасной дамы со стальными крыльями и острым взглядом их общего предка — он тоже не полетит. Он ее не любит.

В одно из ночных пробуждений совесть его спросила:

— Чего ты ждешь с таким нетерпением?

Орел должен был честно ответить:

"Ее, зарю моего солнца, которого я никогда не видел!“ и тут он понял, что участь его решена.

Со следующего дня он начал летать вдоль и поперек всей пещеры, приучая свои крылья к далекому и быстрому полету.

В пернатом царстве забеспокоились...

И вот настала та черная ночь, когда вокруг камня не было полумесяца лунного света. Вся пещера спала, за исключением влюбленной орлицы. От ее зорких глаз ничто не ускользнуло.

Орел сидел, нахохлившись, углубленный в самого себя. Он жег свою волю последним решением:

— Лети!

Орлица волновалась. Пророки не лгут. Ему суждено! Ей грезилась еще одна огромная пещера с голубым сводом, струившим свет и тепло... их полет рядом, прибой ветра в грудь...

Вся в мечтах, изнемогая от нежности, орлица склонилась к крыльям орла, счищая с них пылинки. Его тяжелая темная голова, лежавшая в лоне собственных перьев, поднялась. Он думал недолго и клювом ударил мешавшее ему существо.

С жалобным криком взмылась орлица. Она бросилась в самую глубину пещеры, чтобы в травах, росших как паутина, скрыть самое себя и позор отвергнутой орлицы.

— О, почему пророки ничего не сказали об ее судьбе?!

Она не могла молчать. Она жалобно кричала в охватившем ее безумии горя, и в тот момент, когда орел отделился и взлетел в высоту, она разбудила стражу.

Орел поднимался спиралью, готовя грудь к судьбоносному удару. За ним были столетия тьмы, — вечный свет впереди!

Близок был уже выход. Орел слышал шум плескавшегося на земле дождя... И в этот миг раздался тревожный вой филина. Ястребы и летучие мыши вымахнули из своих караулок.

— Не дать! Взять! Уничтожить! — дико завопила проснувшаяся птичья орда.

Орел напряг всю свою силу.

— Или свет, или смерть!..

И смерть накинула свою пелену на его оскорбленные очи, когда разбитый с разорванной грудью он бился в предсмертном стенании о дно пещеры. Все тело его было истерзано злыми щипками мелких клювов...

В переполохе, в лицемерном унынии наступающего похоронного торжества суетились и галдели птицы. Никто не поднял глаз и не увидел того, что творилось в вышине.

Бесшумными взмахами орлица мчалась к камню. Нет преград и не будет.

Решимость, не чувствующая границ!

Удар!

И камень дрогнул, сорвался с колеблющейся оси и низринулся в бездну.

Над землею и над пещерою в неизреченной благости всходило Солнце!

САДЫ ДИАВОЛА

(Драматическая поэма в прозе).

У диавола было сложное хозяйство: дворцы, сады пороков и ложных добродетелей с чудесными оранжереями, где выращивались призраки человеческих переживаний. Диавол любил творчество, и его лучшие мысли уходили на изобретения, но обычно ему приходилось довольствоваться лишь искажением того, что не он создал.

Ангелы приносили на землю в драгоценных сосудах кристаллы справедливости и благоденствия, — он следовал за ними и в прозрачный янтарь опускал горсть пыли, отражавшейся в нем темными пятнами.

— Я создал грязные стекла, — с гордостью говорил диавол, и люди подтверждали: — Да, это только мутное стекло для убогого дома, а мы думали увенчать наш храм сияющим куполом.

Ждала ли молодая мать появление ребенка, красивого малютки с широко открытыми глазами, — он дарил ей уродца, наделенного пороками предков.

Когда люди стремились к прекрасным устойчивым формам, они находили подброшенные диаволом одежды из черного пепла.

И если фантазия утра ткала светлые образы, то приходили сумерки и высасывали из них живые краски, а в полночь являлся диавол, чтобы разорвать их нежную оболочку в вдунуть тление.

Диавол творил подмену за подменой и обман за обманом.

Прошли века, и побледнели заветы Иисуса. Люди стали забывать кроткого Галилеянина, ушедшего в надзвездные обители. Он был далек, а на земле жизнь медленно ткала историю, сменяла царства, стирала лица и характеры, чтобы на их место поставить новых танцующих марионеток. Не было больше пророков, прожигавших сердца гневною и скорбною речью, никаких вестей из бессмертного мира, и ангелы стали достоянием печальной мечты и детской сказки.

Диавол решил: настал час! Я выявлю свое творчество, я покорю себе человека! Пусть он придет ко мне за моим откровением, как верный и восторженный раб. Богаты посевы моих садов, и плодородна почва. Он захотел посетить свой сад и полюбоваться делами рук и гордых надежд.

Пышными клумбами цвели его труды: тяжелые пестрые астры тупости и равнодушия, хризантемы всех оттенков и форм: с остроконечными лепестками — хризантемы корыстолюбия и белые массивные, напоминающие головы болонок, хризантемы лицемерия. Здесь были орхидеи утонченных пороков и соблазнов: одни, как нежные розоватые лодочки с тонкой змейкой опыленного желтого пестика, другие — словно из воска, забрызганного кровью... Здесь были страшные цветы, испещренные полосами и пятнами, как спины гадов, и снежно чистые, без жизни и без оттенка ирисы атеизма. Это был цветник двадцатого века. Каждый цветок находил свое отражение на земле.

Еще недавно заветным желанием диавола было обратить человека в тупое животное, влюбленное в самого себя. Он входил в комнату ученого, склоненного над своей рукописью, и шептал ему речи надменности и эгоцентризма.

Под звуки фанфар появился Человек и указал на себя и свою волю, как на центр мироздания.

Человек стоял на золотой колеснице, отгоняя бичем себе подобных, а за его спиною кривлялись страсти, празднуя близкую победу.

— Если мир создан для тебя, — говорили они, — то ты создан для нас!

И когда человек соскочил с колесницы, чтобы броситься к ожидавшим его наслаждениям, они окружили его со всех сторон. Иногда во сне он видел лица своих инстинктов и в ужасе пробуждался. Но жизнь приобрела чрезвычайную прочность и Человек смеялся над собственным испугом. Люди стали похожи друг на друга и уже целыми стадами заявляли, что нашли истину около себя.

— Я не зову вас ни к чему высокому, — кричали

одни: — Я только хочу сделать дыру в земле и соединить два материка тоннелем. Да разве я не выше морской стихии, которая будет бессильно переливаться над недоступной подземной дорогой?!..

— Закройте двери в небо, — призывал другой, — и уничтожьте бесцельную тягу. Земля отдает все свое тепло и счастие, а взамен получает лишь постоянный сквозняк божественных идей и неудовлетворенность своею долей.

В больших городах по ночам сияли двери подвалов. Среди ярко расписанных стен, спрятавшихся от дневного света, колыхались массы скучающих лиц. Здесь были изнеженные юноши, похожие на девушек и женщины, напоминающие искусственных птиц.

На эстраду подымался бледный поэт. Он говорил собравшимся, как стара земля, как переполнена чаша культуры. Миру остается или провалиться, или, отрешившись от всего пережитого, броситься на путь самотворящей прихоти.

— Но не приходите в отчаяние! Я гениален и одарю вас перлами еще не виданных форм, еще не слыханных созвучий!..

И опьяненные люди кричали: "Дайте нам новую землю! Дайте нам наслаждение, побеждающее смерть!"

На утро, у выхода, их ждали две нищенки: самоубийство с пустыми голодными глазами тянуло руку за подаянием, прося на бедность "Только жизнь!", и вся замотанная в отрепья, на опухших ногах, Животная Тупость манила пальцем: "Пойдем со мною..."



В садах диавола цвели красные пионы и георгины. Надменно вытянувшись на твердых стеблях, поднимались призраки ненависти и убийства.

Тяжело билось пряною кровию сердце человека. К старому континенту приближалась война.

В заводских корпусах отливались огромные туши осадных орудий, и длинные стволы их тянулись к небу, как пасть голодного зверя, готового завыть свою боевую песню.

Словно рыбы в веселом разбеге, скользили в воду маленькие смертоносные суда, и в светлых аэродромах инженеры и рабочие дружно собирали части металлического Голубя, которому суждено было реять над чужими полями. Для них было ясно: господствовать должен тот, кто верит силе.

Высоко вздымались к небу башни готических храмов, но под глубокими сводами было пусто. Древний языческий бог, бог Вальгаллы, незримо стоял среди молящихся, посылая на бой молодое поколение:

"Будьте варварами и героями!"

Мудрецы народа боялись только одного: чтобы сострадание не проникло в сердце воина.

***

Не огненные змеи стремились по сумрачным садам, над которыми никогда не восходит солнце, — красные головы маков, расцветая, бежали струями среди травы.

А женщины на земле твердили, ломая руки: "Ранен. Изувечен. Убит".

Железной волной проходили боевые фаланги, оставляя за собой мертвую полосу: линии окопов на хлебных полях, кресты и могилы по холмам, сожженные фабрики, остовы жилищ. Страдание переходило из дома в дом, из селения в селение.

Но из-под тяжелых касок на поля сражений смотрели веселые глаза людей, работающих на просторе. Легка была пролитая кровь, и ни один из призраков старого мира не обращал к ним своего лица:

"Колокола могут жаловаться небу, пока их не собьют снарядом!"

Если в тесном ряду фаланги падал смертельно раненный человек, он в последнюю минуту видел товарищей, идущих на завоевание победы, и не успевал осознать одиночества своей отлетающей души.

Диавол обозревал землю. Еще никогда не была она так готова для его творчества; еще никогда Божественный Строитель не уходил от нее так далеко в глубины небесного эфира.

***

Сменялись недели, месяцы, годы.

В городах, далеко позади фронта, в нарядных кичливых столицах, словно сорная трава, поднималось и ширилось равнодушие.

"Поезда раненых? Их надо убрать подальше. Бились год, бились два... Как будто бы и довольно..."

Деньги шелестели, как шелковые платья, и шелковые платья, как крупные кредитки, запускаемые в тугой бумажник.

Корабли разбегались по морям, зорко оглядываясь в ночи тысячеглазыми прожекторами. Они несли на себе драгоценный груз. Вещи стали так дороги! Гораздо дороже человеческой жизни, оторванных рук и ног.

В городе на первом месте автомобиль. Упругий, быстрый, подвижной, он переносит с собою жизнь и энергию. Набегавшись за день, ночью он направляет яркие фонари в переулок наслаждений. Потому что только данный день — свой, а завтра? Призыв, мобилизация, скамья несущегося к фронту вагона, хмурые лица товарищей... Тело становится легким, как будто не свое. Его отбирают: "Пойди и отдай свою жизнь. Смешай с землей мягкие кровавые хлопья!.."

— Зачем отдавать? За что?.. Когда нет ничего реальнее собственных мышц. Для них все совершенства мощной техники: вечно теплая вода, нежные ткани, пружины, пух... Для кого? Чтобы спокойно спали чужие жены и дети? А самому пропадать среди стонов душного лазарета, в беспомощном биении своих искалеченных членов?.. Когда могла бы быть в будущем своя собственная семья?..

Неслышный клич "Каждый сам за себя!" пробегал по всему лицу земли, охваченной войной, не минуя ни палат ,ни хижин, ни моря, ни суши.

"Каждый сам за себя!" — свободным вихрем неслось и над широкими равнинами, где жил молодой народ. Слаба была стража, встретившая его; она отступила, и на полный простор вынесся черный всадник-глашатай: "Каждый сам по себе!"

***

А было это в тот момент, когда над равнинами поднялся мираж. Отдаленным звоном донеслись слабые голоса:

— Свобода — радость!

Во дворец диавола входят сомнения. Сомнения доносят: "Люди говорят о согласии. Людям грезится мир. Провозглашают братство народов. Они хотят стереть клеймо на лбу преступника и вору подают руку: "Войди в наш дом. Мы тебе верим".

Входит новый гонец: "Я видел лицемерные слезы, я слышал фальшивые возгласы!" Все новые лица появлялись в дверях, и каждый хотел говорить. Среди одежд мелькали взмахи рук, и каждый из тех, кто прятал лицо в покрывале, беспокоился и настаивал на своем: "Люди — наши. Они отвернулись от алтарей. Они одиноки". — "Нет, нет! На земле бунт". — "Не против нас, против Неба".

Прошли сквозь толпу садовники: "Великий, иди сам в свои оранжереи. Орхидеи дрожат на своих стеблях, они шепчут непонятные слова..."

У порога стояла высокая фигура верного спутника— Вечного Сомнения.

— А ты что скажешь? — спросил диавол.

— Все то же: что, если человек действительно полюбит человека?!

Царила тишина, пока диавол находился в раздумье: "Не год и не два сеял я полною мерою. Бесплодны сердца людей, и мысль их поглощена заботой. Мои орхидеи приветствуют меня и просят свободы, чтобы тысячью соблазнов наполнить мир. Но вы, трусы, собравшиеся у моего порога, останетесь здесь. Я иду на землю и вернусь сюда с человеком, потому что не Он, а я знаю душу этого вечно колеблющегося существа".



Диавол смело направил свой путь к земле. В полночь он достиг большого города. У Думы стояла толпа. Она ждала: молодой народный вождь сейчас выйдет. Он там, в большом зале, куда немногим удалось проникнуть, он говорит о свободе:

— Свобода творит чудеса. Она из раба создает гражданина. Я утверждаю больше: нет добрых и злых — народная власть не может породить преступников, потому что все будут довольны.

Слушайте! Нет больше повелителя и подчиненного. Мы все равны, и у всех у нас одинаковые руки и ноги, одинаковые потребности и желание жить!

Ненавистное старое отметается, как ненужный хлам. Долой старых богов! Они требовали от народа кровавых жертв и страданий. У нас одна религия — счастие людей! И разве не видите вы, что велик и светел праздник революции? Небо и земля стали иными, так как мы того захотели!

Жизнь человека выше всего! Мы не станем сражаться ни одного лишнего часа. Наша революция охватит весь мир, или да погибнет она вместе с ним!

Он кончил. Сбегает с лестницы. Толпа на улице встречает его криками радости и обожания: "Вот он! Он сам! Народный вождь! Что он говорил?.."

— Что жизнь изменится: камня на камне не останется от старого порядка!

Вождь уехал. Он не знал, как в толпе преломлялись сказанные им слова. А между тем стоустая молва разбегается по улицам: "Вождь сказал сегодня, и все слышали, что скоро не будет богатых, а будет один простой народ".

Толпа возвращается по домам. Проходя мимо дворцов на набережной, она высоко поднимает знамена с надписью: "Да здравствует революция!, "Да здравствует пролетариат!" И на мостах, которые ведут от центра к предместьям, отдельные группы людей поют в предрассветных сумерках:

"Вперед, вперед, рабочий народ!"



Предместья засыпают глухим, глубоким сном. Они долго ждали той новой жизни, которая наступит завтра.

Ночь еще не кончилась, и диавол не покидал земли. Перед рассветом город казался мертвым. Дома

хранили сон людей, и ничья душа не могла оторваться от места, чтобы увидеть то, что творилось невдалеке от столицы. Сонные головы подымались с подушек и вновь падали, погружаясь в забытье.

А ведь туман, поднявшийся над рекой, принес тревожные вести. Широкая река катит свои темные воды к устью, бьет волною о гранитную набережную и о низкий убогий берег, который она затопляет весною. Широкая река омывает острова, уходит рукавами в стороны. В них, прижавшись к земле, стоят корабли — черные реи крестами.

Дальше идут волны в залив — мрачны и безлюдны топкие берега. Посредине залива остров, на нем крепость. Река несет свои воды в море, гонит резвую волну в залив вокруг острова. Волны не говорят, волны знают, чьи трупы они выносят на плоскую отмель. Ноги убитых босы, а на теле обрывки белья не скрывают огнестрельных и колотых ран. На верхушках волн, уходя в залив, качаются редкие офицерские фуражки. Большинство тащили из квартир наскоро, полуодетыми...

Диавол прошел берегом между мертвецами: "Не на словах, на крови строится революция! "Бескровной" ей не быть!.."

Его путь лежал к притаившемуся острову — морской крепости. Вот, среди утихшей улицы, на ветру, качается фонарь кабака.

Пьяная девушка не видит, кто прислонился рядом с ней к дверному косяку. Стукнула дверь и только. Но безусый матрос вскакивает из-за стола:

— Чорт!

Вслед за его протянутой рукой оборачиваются остальные.

— Не дури, Митька, — говорит загорелый матрос со старыми шрамами на лице: — Чай, руки в крови... Чорту удивился? Да теперь он от нас не отстанет. Теперь топи свою душу в вине иль в крови...

Кудрявый парень, поднимаясь со скамьи. швырнул папироску: "Эх, товарищи, мы ко всему должны относиться скептически, иначе пропадем. Хотя бы и был

чорт, так для нас его нету. Маруськина тень на двери качается. Эй, пляши, Маруся, пляши, барыня, заработаешь лаковые сапожки!.."

Диавол был с ними до утра. А когда на горизонте сверкнула полоса зари, он вышел на берег. В вышине светлела прозрачная чистая твердь.

Будет ли день ясным? Нет. Диавол собирает тучи над морем, он гонит их серые клубы на город. Пусть пыльным колпаком лягут над домами, отразятся в почерневшей воде, наполнят комнаты сумерками, от которых слабеет мысль и тлеют ткани.

Пустынны широкие улицы предместий, фабричные гудки зовут к станкам. На площади к дверям булочной протянулась длинная очередь согнувшихся платочков. Хлеба мало!

Рабочий отрывается от сна. Что? Гудки? Фабрика? Трудовой день?.. Вчера он заснул свободным гражданином, а сегодня стой у машины, придет инженер с измерителем, инженер чисто вымытый, пахнущий одеколоном...

Окно заслонила желтая стена каменного дома, и все, что видно из-за нее по ту сторону улицы — ярко расписанная афиша кинематографа: "В когтях порока", драма в 8 частях.

И думается рабочему: — У богатого нет заботы. А рабочему дали свободу, да только ее ни рукой не ухватишь, ни зубами не укусишь. Темного человека всякий обмануть может. Революция?.. А почему один в автомобиле ездит, а другой пешком ходит? Почему министру больше жалования платят, чем почтальону? Намедни студент говорил, что потребности у всех одинаковые...

— А если я не хочу, я — рабочий, тот самый нужный человек, который и дома, и мосты, и паровозы строит. Без рабочего ни шагу! Вся, мол, столица на костях рабочего народа построена, который в болоте топ... Так не желаете ли забастовку?.. — И крепкий узловатый кулак грозил в окно неведомым врагам, скрытым строгими очертаниями каменных громад по ту сторону могучей реки.

Тусклый свет льет утро в кабинет старика-правителя — на бледную руку со сжатым пером над грудой бумаг. Что отвечать на кучу требований? И вчера, и сегодня, и раньше, с тех пор как у власти стоят народные избранники, в каждом распечатанном пакете он находит одни и те же слова: "Мы требуем". Словно кредиторы собрались со всей земли, и с неумолимой жестокостью каждый из них предъявляет свои и только свои права.

Старым, печальным, опухшим от ночной работы глядит лицо правителя. Беспомощно мигают водянистые голубые глаза. Что делать? Остановить, прикрикнуть. Но бок-о-бок стоит другая власть; она одной ногой в доме, другой на улице и со страстным вызовом говорит:

— Дотронься до меня, и я призову толпу себе на помощь. Ты слышишь? — Народ мой!

И, не дожидаясь ответа, эта власть оперативной иглой уколола мозг Армии, защищавшей страну от врага: "Революционная дисциплина и солдатские комитеты пусть решают судьбы войны и мира!"

***

Лежала утренняя роса в садах диавола. Просыпались пионы, махровые, хищные, вечно жаждущие крови.

Диавол сидел, пригнув голову к коленям, глядя вдаль, где в коконе тумана отделенная от мира светил шевелилась и мучилась земная жизнь.

Диавол бросил крылатые слова, и стая черных птиц полетела на землю:

— Я освобождаю тебя, человек, от обетов долга, от клятв и присяги.

Освобождаю от любви, привязанности и жалости.

Освобождаю от веры, надежды и преданности.

Освобождаю от справедливости, от упреков совести и стыда.

От Божьего страха!

Человек, отрекись от неосязаемого бытия. Иди по земле, освобожденный от всех повелений внутреннего твоего мира. Иди таким, каким ты не родился и никогда еще не был!

Идея, брошенная в бродильный материал, обернулась множество раз и дала реальность.

Лето. Душно в городе от жары и тесноты. Плохие вести с фронта: враг притаился для ошеломляющего удара. Каждый день с вокзалов выходит лавина серых шинелей окопников и бросается на новые вокзалы, чтобы, колеся по всей стране без карты и путеводителя, нащупать, наконец, свою губернию, свою станцию, свое село.

Каждое утро в товарной приемочной отмечают: тает количество грузов. Скоро столицам есть будет нечего.

На путях плачутся старые охрипшие паровозы: "Нашего веку хватит. Не повезем!" Из мостовой выскочили торцы и булыжники, трава забралась на ступени музеев. Ветер носит мусор и пыль. Всюду ветошь, подсолнухи, жажда ремонта. Но что до того? — Город желает жить!!

С небывалой лихостью несутся расхлябанные автомобили. На углу у большого ресторана попрежнему стоят чередой рысаки. Гордо бьет копытом нетерпеливый Серый. Тупы и надменны лица привилегированных извозчиков: "Без нас не обойдетесь!"

В окнах торговых рядов красуются огромные рыбы. Лоснятся жирные розовые разрезы семг и лососин, блестят горки консервов, кадки с икрою; алеют благоуханные ягоды... Резво вбегает в магазины и выбегает публика. Текут дешевые бумажные деньги миллионным неудержимым безответственным потоком.

Город желает говорить!! Он говорит на съездах и митингах, на базарах, бульварах, в длинных очередях "за продуктами первой необходимости". Во всем городе молчат только памятники.

Город желает править!!. Стучат пишущие машинки, рассылая распоряжения, декреты, запросы, категорические увещания: "Мы избранники народа... всей силою власти... требуем"... "Мы... мы... мы... всем... всем... всем..."

Дрожат телеграфные провода. Без отдыха звонит

телефон. Мириады правящих нитей набрасываются на страну, но, не дойдя до земли, истлевают.

Синий жар революции. Судорожны ее движения. Раскаливаются массы, как подожженная смола.

***

В землянке еще не спали. При свете огарка солдаты играли в карты. Один сидел в стороне, уткнувшись небритым подбородком в сложенные руки. Глаза его мерцали, как у больного. Мысль сверлила мучительная, долгая, требовательная: если от старого порядка отрекся, так надо чем-то себя проявить в новом своем положении, самого себя в нем утвердить и злость свою, накопившуюся за годы войны, пребывание в окопах, неудачные наступления и тяжелую оборону, на ком-то сорвать, чтобы за сердце не сосала.

— Вот он тут и причина — ротный командир!

Гладкий. Строгий. В бою впереди. Ранен, контужен. Крест имеет белый за отличную храбрость. Правильный человек, ровно стеклышко. А только... он враль и изменник! Что соколом смотрит? Легко ему смотреть, когда он командир... "Я тебя посмотрю!.. У всех у них, у предателей народа, одна песенка: Родина, честь, знамя.

От них-то и тошно. Этими обманными словами людей на убой гоняли. А на расчет выходит, что родины, может, и не надо, когда вся земля — трудовому народу. Ни тебе барина, ни тебе управителя, ни тебе арендатора. Ни тебе России, ни тебе Германии, ни тебе другой земли. Народ и точка.

Честь? Да кто ее видел? Когда б она такая была, как ротный хочет, так уж земля бы треснула от бесчестия. И нет ее, а народ жив, сыт и пьян. Хуже жили, лучше заживем...

Знамя? Завтра его штыками исколошматить — бабы новое сошьют. Тряпка, глупость одна для сознательного человека.

Вот тебе и ротный со всей его начинкой — кукла злая, трухой набитая. Глазами не глядит, бровями дергает... Страха на него нет. Больной, один в землянке остался лежать... И это в такое время?.. А?

Как это он перед собранием говорил: — Вы-де трусы, предатели, родины не жалеете, Бог покарает... А ему, вишь, своя рубаха к телу не ближе... Свят выискался!.. У, белоручки проклятые — по-иному чувствовать желаете? Только шалишь — этого я тебе не позволю: убить не убью, а так... чтобы ты понял!..

Тяжело дыша, солдат поднялся с места, порылся в углу и вышел.

В землянке офицера горела свеча. Больной спал. На стене отражался четкий профиль. И рядом с ним внезапно вырос силуэт человека в растопыренной шинели. В воздухе сверкнул топор и ударил по пальцам руки, лежавшей на одеяле.

— Вот тебе честь. Вот тебе родина. Вот тебе знамя!..

Духоту землянки прорезал крик. Прошло несколько секунд. Человек смотрел человеку в глаза: один с ужасом и страданием, не только боли, но и непонимания; другой — с жадным любопытством и насмешкой.

— И ничего мне не будет! — торжествующе прошептали сухие губы солдата. Шинель качнулась, приросла на миг к двери и, выплюнув скверное ругательство, скрылась в ночи.

Шел густой дождь. Солдат крепко укутался, сжимая ворот. Он поглядел вверх, где плыли низкие облака, и бросил чужому, ненавистному небу:

— О, будь ты неладно!

***

Прошел год. Красным пологом ненависти покрылась вся страна. Человек человеку перестал быть братом; не осталось и "земляка".

"Волк волку!" — неписанными буквами стояло на знаменах гражданской войны. Государство было разорено, опозорено, разбито.

По рыхлым черноземным бороздам волы тащили не плуги — телеги с покойниками, — с полей сражения в места вечного упокоения.

Два поезда стремились навстречу друг другу, с жадностью пожирая версты, чтобы поскорее схватились в кровавой стычке ненавидящие друг друга люди.

Дряхлый локомотив осторожно вел за собой по на-

сыпи к реке длинную вереницу красных товарных вагонов. Внизу, в стремнине — железные обломки взорванного моста. Тише, все тише ход.

В углу теплушки мается солдат, хватаясь за голову. Завтра свезут в сыпнотифозный барак. Тоненькой струйкой движется зараженная вошь от шинели к шинели. У раздвинутых дверей вагона стоит матрос, красавец детина, увешанный патронами. Нравится ему раздолье заливных лугов, золотые откосы подсолнухов, аккуратные виноградники.

— Эх, благодать... И не умирал бы! — Судорогой скривилось лицо, сощурился, заговорил с товарищами. Двенадцать их в вагоне да один чужой, приставший от станции до станции, крестьянин-сектант, бородатый, голубоглазый.

— Ничего, товарищи, справимся с гидрой контрреволюции! Дело в количестве, а нас большинство. Мы — туловище, они — голова. Срубим голову, своя вырастет. Так ли? — вперил дерзкий взгляд в незванного молчаливого гостя. Тот скубал пальцем лапоть, не поднимая головы.

— Не дадим замотать свободы! Так ли? — Матрос отвернулся, не дождавшись ответа, и снова потекли перед его глазами зеленые луга, блестящие стоячие воды.

— Свободен ли я? — дико спросил, внезапно обернувшись, видно своя невнятная мысль грызла.

— Свободен! Свободен! — кричали хором и смеясь.

— Вот то-то же. Все ли мне дозволяется? — Все... Он засмеялся зло: — И я так смышляю. "Они" народом верховодили. Пришло время — не убереглись. Теперь народу дай волю... Сам своими руками одиннадцать убил. Теплых из постелей вытаскивал...

— И не страшно? — спросил бородатый.

— Лихо! Бог не замахнется, а свинья не съест. Иконы на пол покидал и ногами потоптал.

— Своих не убивал? — спросил почти шопотом сектант.

— Своих? Не-е-ет. Когда к себе домой пришел, отец на меня кинулся: "Не сын ты мне. Душегубец!", да заповедями меня и глушит: "Не убий. Не укради. Не

прелюбодействуй. Чти отца твоего и матерь..." Он в меня заповедями, а я в него непечатными словами... Ушел я — товарищи его задушили, да и сестру тож. Не иди против воли пролетариата...

— Не жаль? — допытывался собеседник.

— Все одно. А тебе-то что? Смотри, чтоб я с тобой не поговорил! Все равно... всем нам гнить одинаково. Тут и крышка, и нет ничего. — Взметнул бровями: — А пока жив — лихо! Никто мне не перечь!..

Тяжело дыша белыми парами движется навстречу самодельный бронепоезд. На скамейке вагона лежит офицер, прикрытый шинелью. Его никто не тронет, с ним не заговорят. Его разбудят только тогда, когда пора будет итти в бой. Ему нечего делать на земле: в родовом имении пришла банда замучила жену и ребенка, утопила отца в пруду, сожгла дом; лошадям на конюшне выпустили кишки... Он свою жизнь рассчитал на коротко: жестоко отомстить и умереть. Десятки изрубленных тел — мало; сотня сожженных в доме комитетчиков — мало. Нестерпимая, ненасытная жажда, палящая мозг. А разве может он забыть изуродованные трупы мальчиков-однополчан, вырезанные на плечах эполеты?

На площадке бронепоезда разговаривает молодежь: бывшие студенты, кадеты, гимназисты. Юноша целится из ружья в приближающегося по оврагу всадника: — Сниму, как куропатку! Пусть не вынюхивает.

— Ну, и проклятый народишко! Предатели... каторжане... Их время... Своих убивают, врагам кланяются...

Другой отвечает: — Чумное стадо!

Только один поднял голос: — Не торопитесь проклинать. Кто еще виноват — неизвестно. Чумное стадо-то ведь свое: плоть от плоти и кость от кости... Сколько наших образованных "Иванов Карамазовых" соблазнили "Смердяковых"? И кто их родил и пустил по лицу земли? Беспризорных, озлобленных? Безграмотных и науськанных?..

***

В тылу гражданской войны, в больших городах, хо-

дил перед рассветом пьяный соблазн, нащупывая в карманах свои и краденые, родовые и модные бриллианты и глупые бумажные деньги различных временных правительств. Улица притаилась.

Горела электрическая лампочка под зеленым абажуром на письменном столе. Человек не спал далеко за полночь. Второй раз пропели петухи. В складках занавесок скрывался невидимый потусторонний собеседник.

— Ты мучаешься? — спрашивал он бережно: — Тебя тянет на фронт? В ту тонкую полосу разношерстных людей, что собрались там в военном бреду, чтобы уничтожать своих гражданских братьев?

Посмотри, каким тяжелым, мертвым сном они спят по разоренным ими хатам. У одного они берут лошадь, у другого режут корову. Им надо есть. Будешь ли ты с твоим чувствительным сердцем душить курицу, вырывая ее из рук плачущей бабы? Как ты пустишь пулю в лоб взятому в плен белобрысому солдату, такому же Андрею, Ивану, Матвею, как и ты? Разве твой дед не был крепостным? Не говорит ли в тебе кровь матери, принадлежавшей к привилегированному сословию?

Человек у стола провел пальцами по строчкам сегодня полученного письма: "...вырезали всю семью... детей выбросили в окно... в подвалах Чрезвычайки стояли ведра вырванных глаз — "икра"..."

— Нет, я должен итти, — сказал человек: — Я что-то должен сделать. И если я не умею, если я — комнатный человек, то меня научат те, кто знает, как пускать пулю в лоб!.. Не могу же я сидеть в своей квартире и каждое утро спокойно завтракать...

Он уже принял решение и хотел встать, но невидимая рука прижала его к креслу.

— Подожди ... не торопись. Пусть выяснится, кто прав, кто виноват: дикое ли полчище, но обещающее равенство людей, или ты и тебе подобные интеллигенты со своими культурными привычками и головою, полной противоречивых мыслей?

Ты хочешь быть защитником веры? Но что ты знаешь о ней? Ты хочешь охранять очаги, сберечь

свой дом и свое отечество? Но, может быть, оно лишь призрак, обман, условность?.. И без него человечество устроится гораздо лучше?

Ты говоришь о чести? О доблести? Во все века и честь, и доблесть требовали крови и самопожертвования. Неужели тебе не жаль отречься от всего, чего ты сам достиг и что стоило такого огромного труда и напряжения мысли?

Не шевелись. Судьба придет. Длинный дерст ее чертит за твоей спиной слова жизни и смерти!

Ему показалось, что в складках занавеса раздался короткий смех.

И человек не двигался. Он жил сегодняшним днем. Он только ждал. Он замыкал двери своего жилища и пугливо не выходил на улицу, где смертною дробью стучали пулеметы гражданской войны, словно настаивая: "Торопись, торопись, завтра будет поздно..."

Он ждал пока за ним придут и открывал двери на разъяренный вопль приказаний и стук прикладов. Он белел и серел при виде лиц своих палачей и с покорностью обезумевшей овцы шел в толпе на заклание.

Свершилось пророчество: "Столице быть пустой". Замыкались сроки. Черная пелена ненависти и уничтожения покрыла страну на годы и годы.

***

В сумеречных садах шел надменный шепот цветов: "Мы побеждаем. Когда окаменеет сердце, ничего нового не будет совершаться на земле".

— Еще одна пядь пространства, — сказала мудрейшая из орхидей, — и мы перейдем черту непреложного закона. Однообразием форм мы остановим время. Исчезнет притяжение, кремень не даст искры от удара, и человек забудет полновесное и свободное слово "Да!"

Слуги диавола подобострастно окружили его дворец: "Мы поем тебе славу, славу низвергнутому и восставшему. Ты один будешь царствовать на этой планете".

— Это будет тогда, — вмешалось Вечное Сомнение, — когда ненависть станет источником жизни, ко-

гда проклятие будет творчеством. Может быть, это время приблизилось?..

***

Среди мира мощных светил и планет неслась маленькая Земля.

В недрах ее клокотал беспокойный огонь. Старела и сжималась кора, заключавшая его, грозя роковой катастрофой землетрясений самонадеянным миллионным городам.

Но изменились ли небесные пути от того, что закрылось набухшее в спеси сердце человека?

Были ли разорваны незримые цепи, смыкающие звезду со звездой оттого, что воля человека своим лезвием обернулась к небу?

Исчез ли закон обновления от того, что отравленная кровь текла по венам ухищреннейшего на земле существа?

Солнце всходило и заходило. Зиму сменяла весна. Реки вышли из берегов. Звонко кричала вода, пробегая по камням: "Я — сила! Сила с собою уносит все!"

Под буйным ветром, размахнувшимся по полям, закачались деревья, и затряслись онемевшие замерзшие ветви.

— Мы просыпаемся, — шептали соки, проходя от ствола до самого тонкого пальчика, и, не выдержав напряжения, лопнула кора, выпустила зеленые ростки.

Земля вздыхала, пригретая солнцем; по лицу ее бежала трава, пестрый цветочный убор.

Из старых кочек, надежных как каменный дом, поползли жуки. Муравьи поправляли крышу своего жилища, размытого тонкою капелью.

Прилетела и зачирикала птица у окна комнаты, где плакал новорожденный ребенок, словно сказала ему приветливо:

— Вот и ты вошел в мир. Все сейчас новое, и ты будешь новый, никогда не повторимый.

Мать наклонилась над колыбелью, любовью обволакивая младенца, которому придется расти, бороться, пройти все жизненные испытания и дать ответ на вопрос: "Что ты сделал, человек, на земле? Кому ты служил?"

Не только от отца своего и матери, но и от Духа рождается самоотверженный человек, и оболочка его — временное жилище, а сердце его знает больше, чем мозг всех его предков от Адама и Ноя.

Он проходит сквозь болезни и одиночество, сквозь войны и революции, но сердце его не ожесточается и говорит ищущей, реющей мысли:

"Ты видишь? Ты перечувствовал свои и чужие страдания? Так возьми же на себя бремя решений и ответственности. Иди! Не бойся. Я научу тебя из глубин любви к своему ближнему, как находить дорогу для себя и для других. Живи, не теряй ни часа. И знай в свою последнюю минуту, что ты сделал все, что ты мог. Не оглядывайся! Не колебайся! И не печалься. Неисповедимы пути Господни, и смерть не отнимет у тебя жизни твоей напряженной, как тетива, души".

Тихим вечером соловей прислушался, о чем говорила даль, полузакрыл глаза и запел.

Он пел о том, как жизнь разлита во вселенной, как ходят невидимые волны, то ласкою и любовью, то гневом и ненавистью вдохновляя живые существа — без остановки сменяя мгновения.

И нет ничего пустого и праздного, ни одной ненужной слезинки, ни одного позабытого страдания. Нет ничего без далекого отзвука. Розы цветут и на земле, и в небесном вертограде.

Жаркие свечи мерцают под сводами храма. Проникновенно глядят лики святых, восприявших скорби людские.

Старый священник читает Евангелие — главу третью от Иоанна:

"Дух дышет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа".

Топится воск, переходя в пламя. Пламя тянется ввысь безмолвным порывом. Теплится, плачет, ликует молитва. Исчезают преграды. Окрыленная мысль не видит черты между жизнью и смертью. Мир велик. Глубока любовь. Преходяще страдание.

Ибо жив Господь!

МУРРИ-КОК

Сказка.

Солнце взошло над лесом. Утренний колокольчик — жаворонок — зазвенел в высоте:

— Хвала Всевышнему! День рождается.

На поляне бурая медведица, млея от нежности, облизывала своих детенышей. Еще никогда у нее не было таких хороших. Их трое — мохнатых ,упругих, а главное, милых; обещают вырасти здоровыми, сильными медведями.

Она уже ела и кормила детей. Все было благополучно и без забот. "Замечательно!" сказала Махина и только собралась перевернуться на спину, чтобы поиграть с малышами, как вблизи раздался тонкий, плакучий писк.

— Что это такое? — всполошилась медведица. Писк повторился, жалобный и просящий. Наклонив голову к траве, медведица нанюхала след незнакомого запаха и тотчас же увидала выглянувшее из-за дерева крошечное остроконечное рыльце. — Хо-хо-хо, — удивилась Махина. — Кто бы это мог быть? А ну-ка, вылезай, покажись во всей красе, — приказала она зверьку.

Пушистый комок отделился от ствола и выкатился на поляну. В его больших ореховых глазах стоял испуг, мольба и еще что-то, что можно было бы принять за дерзкое любопытство, если бы он не был так мал и беспомощен.

— Совсем еще щенок, — ухмыльнулась медведица. — Ну-ну, что мы будем с тобой делать?

— Я хочу здесь жить, — заявило рыльце.

— Хорошо. Но ты должен понравиться Лесу. Поиграй-ка с моими ребятами, пока я созову зверей.

В глубине леса протянулся тягучий, призывный медвежий рев. Поляна быстро наполнилась всем тем, что жило, рычало и пело в окрестности. Во время общих собраний никто ни на кого не нападал, а потому

и заяц примчался, дожевывая капустный листок. Его усики весело шевелились.

— А мм... да он, кажется, моего роду-племени, — сказал он радостно: — пожалуй, в лунные ночи он будет кататься в траве...

— И жрать незабудки, — перебила лисица презрительно. — Я против пришельца ничего не имею, но следовало бы выяснить его происхождение. Кто ты? — обратилась она к зверьку, обдавая его тяжелым дыханием. Маленький ответил ясно:

"Я — Мурри-Кок".

— Фрр... кх... гм... — удивились звери: — такого мы и не слыхали. Он хоть и щенок, но ни на кого из нас не похож

— Ни на зайца, ни на лисицу, — припечатала медведица.

— О, что за сравнение... — обиделась рыжая особа: — в моем роду нет никаких изъянов, и все мои бабушки были красавицы...

Лев не дал ей говорить. Он взял на себя допрос Мурри-Кока.

— Откуда ты?

— Из большого леса.

— Как ты сюда попал?

— Бежал... Нес меня ветер... У нас была буря...

По его нечищенной сбившейся шерсти и вялым движениям видно было, что бежал он долго и очень измучен.

— Где твоя мать?

Мурри-Кок обвел всех присутствующих помутившимся взглядом.

— Ее нет, — едва пролепетал он.

— Говори, говори, что с твоею матерью, — взволнованно расспрашивала медведица. Глаза зверька были полны влаги, он дрожал всем телом. То, что погубило его мать, было ужасно. "Оно — холодное", простонал он. Звери переглянулись.

— Ее здесь нет, — осторожно заметила пантера и посмотрела себе под ноги. — Гад! — отчетливо выпалил чижик и перебрался на верхушку дерева.

— Я беру малыша к себе, — решила Махина: — он меня не объест, а детям будет веселее. Вавака, Бурча и Фуфф так воспитаны, что он может брать с них пример!

Никто не возражал. Каждый, покидая поляну, сказал свое "Да". Детеныш неизвестного зверя был принят лесом.

— Отныне наш, — пригвоздил дятел и пошел вверх по стволу, повторяя: "Отныне наш.. наш... наш"...

На собрании был еще один молчаливый свидетель. Когда разлетелись пернатые и замолк последний шаг, через поляну, мерно влача свои посеребренные извивы, проползла Сия. Она задумчиво посвистывала. У входа в овраг ее ждала подобострастная медянка. Склоняя голову перед повелительницей, она молчаливо вопрошала.

— Не все новое к лучшему, — обронила, усмехаясь, царица змей и продолжала свой путь к сырым переплетенным корням, растопыренным у ручья. Ей хотелось спокойствия и уюта.



Медвежата были хорошие дети, Махина— хорошая мать. Все лето играли на поляне вчетвером: Вавака, Бурча, Фуфф и неистовый Мурри.

— Смотрите, как я прыгаю! Я сейчас подпрыгну до той высокой ветки...

— Зачем тебе? —удивлялись медвежата, лениво развалившись в тени. — Это совершенно необходимо! — заявлял Мурри голосом, с которым не полагалось спорить. Он взвивался на воздух, подобрав ноги, и достигал намеченной ветки. — Я работаю, — говорил он весело и делал зубами зарубку — чтобы завтра подскочить еще выше.

— Кто тебе велит? — ворчали Бурча и Фуфф. — Мы бы не стали трудиться впустую.

— Впустую! — вознегодовал Мурри; в ту же секунду Фуфф обиженно завизжал, схватившись за укушенное ухо, а из зарослей раздался смех убегавшего зверька.

— Очень миленький, но беспокойный, — говорила про него медведица, нежно вычищая языком шелковистую его шерсть: — не вертись хоть на минутку, подожди, еще не готов. А почему у тебя нос горячий?

— Потому что нетерпеливый!

Вырвавшись из-под материнской лапы, Мурри-Кок мчался по лесу, навещал друзей, которых у него было много, и разглядывал все, что в лесу нового. Вчера прошла гроза; лес еще не успел прибраться. Гнездо знакомого чижика, совсем размотанное, едва держалось на дереве, и стайка заботливых птиц носила новые палочки и липкую смолу. — Такие хлопоты, — пожаловался чижик, присаживаясь на смородинный куст: — тружусь с рассвета, еще и мошки во рту не было. Знаешь, Мурри, наше дерево вчера склонялось к земле. Я думал: мы пропали.

— А я тебе сто раз говорила, — воскликнула чижиха сквозь слезы: — не строй, не строй гнезда на ветру. Так нет же — ему нужен хороший вид, простор перед глазами! О, я несчастная! Иметь несолидного мужа и легкомысленных детей!

Мурри не дослушал ее причитаний. Он улыбнулся чижику и убежал. Недалеко от опушки из лисьей норы сладко и пряно пахло куриными перьями. — Спозаранку наелась, рыжая тетка!

Лисица взвизгнула (она считала себя утонченной особой):

— Вздорный мальчишка! Приблудившийся хам!..

Мурри-Кок сидел на верхушке старого платана, вознесшегося над окрестностью. Он смотрел. Он любил смотреть. В созерцании растворялось и замирало все его существо.

Лес был огромен, но еще больше, еще волнистее были поля. Они шли до сизой полосы горизонта, а может быть, и еще дальше. Среди полей извивалась река, за нею точились дымки над людским селением. Туда не заходил ни один зверь, а было интересно...

Мурри-Кок смотрел. Его сердце билось молодо, сильно, но мирно, как мирен был ранний осенний день. Мурри-Кок знал звериным чутьем, что в природе все

полно значения: и цвета, и линии, и самый воздух, дрожащий миллионами струн.

Он слушал настороженными ушами, слушал каждым волоском. Мерцали мгновения, лучи, волны.

"Как милостив Творец!" торжественно прошептал около него жаворонок, падая с высоты в прохладу леса.

Мурри-Кок созерцал и слушал. Величественный концерт давал ясный и горячий осенний день, но Мурри различал и еще нечто, что таилось за атласным блеском дня. До него долетало неясное волнующее приказание. Он насторожился и ждал. Ничего. Тонкая, как игла, тревога разлилась в его крови. Он повинуется. Он ждет. Он будет ждать.

***

Зимою наступила большая спячка. Подле широкой Махининой спины Мурри-Кок находил успокоение от страха, нападавшего на него во сне. Когда он стонал с закрытыми глазами, медведица лизала его темя горячим языком, и кошмары, похожие на упругие клубки, укатывались вдаль. Изредка он просыпался и бодрствовал. Темно было в берлоге. Стучал дождь, выл ветер, продираясь между вековыми деревьями. Над всеми звериными домами бушевала и лиховодила иная жизнь. Там кричал и нагличал ветер, родившийся в южном океане. Он стремился на север, чтоб сразиться с морозами и гнать их в почетном отступлении до ледяных берегов. "Дорогу!" вопил ветер: "Сломаю. Изобью. Мертвым ударю о землю. Я — битва. Я — страсть. На земле никогда не бывать миру. Никогда! Никогда!"

"Страшно", — думал Мурри-Кок: "он грозит, этот могучий ветер. Неужели он захватит нас навсегда! Махина велела спать, а весною обещала чудо. Хотя бы поскорей!" Дрожь забиралась в мускулы; одно утешение — чувствовать сквозь кожу, что вблизи бьются крепкие и мирные сердца его семьи. Он не один, и, может быть, ласковый сон придет и перенесет его через злую зиму. Сон приходил, улыбаясь, и прикрывал рукою настороженные трепещущие веки.

Однажды он увел Мурри-Кока в далекий лес, тот лес, откуда он явился маленьким растрепанным зверьком. Среди зарослей было прохладно. Над головой между верхушками деревьев горел синий лоскут неба. Мурри играл в кругу таких же, как он, зверей. Мелькали черные острые мордочки, блестящие глаза, гибкие, пушистые тела. О, как они все высоко прыгали! Как радовалось сердце! И каким нежным лучистым спокойствием веяло от большой самки, ударившей Мурри своим шелковым хвостом. Он был счастлив. Разве это не была его мать? Мать!



Зима пришла к концу. Коварной нежностью овеял весенний ветер ледяную кору на реке, пелену снега в полях. Мурри-Кок пробудился. Светло было в берлоге. Бурая большая Вавака возилась в углу, вылизывая свою шерсть. Ее кроткие глазки озабоченно осматривали лапы, живот; она едва узнавала себя во взрослой медведице.

— Мать и братья ушли есть, — сказала она: — а мне велели тебя караулить, чтобы тебя не съел кто-нибудь из голодных соседей. Ты совсем мало вырос, и мать сокрушалась, когда тебя увидала. Настоящий слабеныш!

Бурлили ручьи. Тянулись стволы деревьев. Свежей нагретой волной катилась кровь по жилам отощавших зверей. Даже старый лев, лежавший около пещеры, похвалил работу своего утомленного годами сердца. Мурри-Кок был доволен собою. Он выровнялся, чуточку вырос и в два скачка перелетал поляну. Махина собирала детей и учила их уму-разуму.

— Стройте свой дом широким и крепким, чтобы вам в нем не драться, а чужих не пускать.

Никого не трогай зря. Но если на тебя нападут, бей без пощады, сноси череп.

Бойся лукавых: человека и змеи. Ясно?

— Ясно! — хором ответили медвежьи дети. Только Мурри-Кок сидел, задумавшись, потом сказал, подняв мордочку:

— Я еще никогда не видел змеи. Шорох же ее

слышал много раз. Гремели сухие листья под тяжестью ее тела. Она уползала... А человека я бы хотел увидать, ведь он умнее всех зверей. Так было бы интересно заглянуть ему в глаза!

— От земли не видать, а дерзкий, — рассердилась медведица: — смотри, поплатишься. Наши заповеди исстари идут. Никому их менять не велено.

Мурри смолчал, но про себя решил, что он-то ведь из другого леса, для него закон не писан, и в своей жизни он непременно познакомится и с человеком, и со змеею. Надо узнать, где их найти.

Звери у водопоя рассказывали о новых злодеяниях царицы змей:

— Нет никого в лесу, кто бы мог победить Сию. Для всех имя ее — трепет; укус — смерть.

Один лишь старый кабан помнил сказку о звере, побеждающем змею, но и он забыл, как его звали.

— Мерзость, мерзость! — гневно разразился лев, ударяя хвостом по бокам: — и я завишу от неосторожного шага. За каждым пучком корней караулит ее холодное объятие и мучительная кончина. (лев любил выражаться торжественно).

— А что делает со змею человек? — спросил тонкий голос. Звери молчаливо переглянулись в ответ на бестактный вопрос. Имя человека в их обществе старались не произносить. Этот гладкий слабый зверь обладал несметной хитростью, наглостью и таинственными силами. Напоминание о нем было пугалом и позором для мощных хищников.

— О! Человек может убить Сию и обернуть ее вокруг палки. Он раздробляет змее голову и сдирает с нее кожу, — радостно объяснила чудачка Пума, вдруг очутившись около Мурри. — Скажу тебе по секрету, — зашептала она, — что я... обожаю человека...

ГЛАВА II.

Наступили дни, когда медвежьи дети покинули свою мать, и она спокойно отпустила их. Весь звериный молодняк строил жилища. Мурри-Кок вырыл себе узкую извилистую нору с площадкой в глубине сходившихся коридоров. Когда нора была готова, он понял, что он один. Уже давно Вавака нашла своего лохматого Байбака, Бурча и Фуфф ушли на левую опушку леса поближе к пасекам и там обзавелись семьей. Лес пел, верещал и любил. Мурри-Кок отправился на поиски подруги. Его путешествие длилось по человеческому счету дольше двух месяцев. Он обежал весь лес, видел все опушки, поднимался на отроги гор и оттуда, с высоты, в ясный прозрачный день видел на горизонте недосягаемо далекую синюю полосу. Она могла быть и лесом, и морем... Там на скалах он подружился с Орлом и Соколом. И у его друзей были гнезда, жены, остроклювые птенцы, свой устав жизни, но никто никогда не видел зверя, похожего на него самого. Мурри-Кок был безнадежно одинок и свободен.

Три лунные ночи подряд он пел, закинув голову; в этой песне не было ни единого слова любви; она была прожжена отчаянием. Слыша неистовые вопли, овцы переставали щипать траву и сбивались в кучу, толкая друг друга боками, а карауливший их пастух сложил на своей дудке новую песенку, отрывистую горькую и терпкую.

Мурри-Кок вернулся домой в свою нору, по дороге решив, как он будет жить из самого себя. В голове у него шевелилось самостоятельное существо, подвижное и горячее. Люди его называют мозгом.

Молодым мудрецом, обошедшим свет, вернулся Мурри-Кок на поляну, ставшую его второй родиной. Его встретили приветливо, но он на всех поглядывал чужими глазами. Поляна ему показалась малой, весь соседский обиход — скучным, дни без событий — нестерпимыми.

На ближайшую ночь он назначил собрание зверей и обещал открыть "тайну жизни".

Звери собрались толпою, развесили уши и с детским любопытством ждали чудес. Мурри-Кок взгромоздился на дерево и произнес речь.

— Истина в вас самих! Излучайтесь. Если собрать все ваши лучи в одно единое море, то на земле может родиться собственное солнце... Тогда нам не нужно будет неба. Мы призовем людей, чтобы они построили над лесом непроницаемый свод...

— Что за околесица, — возмутился лев: — еще никто из моих предков не просил помощи у человека, и я не попрошу!..

— Нелепо тратить час охоты на праздную болтовню, — жеманно поежился тигр и сразу прыгнул в кусты, избирая кратчайший путь к водоему, где пили козы.

Олениха очень обиделась: она не желала свода над лесом. Ее супруг шептал ей на ухо самые нежные слова в те ночи, когда всходил молодой месяц.

— Излучайся сам, если хочешь и сколько хочешь, — пробучала лисица, — а мне для моего благополучия нужны все четыре времени года.

Все были недовольны, за исключением старой ученой мартышки. Она привела с собой целый выводок обезьян, соглашавшихся на коренную реформу. Для них она не будет новостью, они и так привыкли жить под сводом из ветвей и готовы не понимать ничего в мире, кроме самих себя... Поляна быстро опустела. Мурри-Кок плюнул в глаза обезьяньему вожаку и бросился к себе в нору. Хотя бы холодная земля успокоила его голову, налитую раскаленной обидой. Его осмеяли. Он был не нужен лесу!

Несчастный, взъерошенный направился он на утро к Махине за утешением, но медведица сурово его встретила:

— Стыд и срам! Занялся бы ты делом. Не думала я, что из моего воспитанника выйдет ерундовый зверек!

Что мог он ответить? Поникнуть головой, которая слишком много думала. Чижиха стала обращаться с ним холодно. "Он — неудачник", заявила она, "а я поклонница мужества и силы".

— Имей терпение, Мурри еще себя покажет, —

буркнул муж.

Дни шли за днями. Лето цвело. Мурри-Кок не знал, что ему делать, а жизнь не хотела подсказать. Незаметно случилось так, что он решил: он прав, а все кругом виноваты.

***

Время приближалось к полдню. Все живое попряталось от жары. Вздремнувший Мурри проснулся. Что-то неладное творилось в природе. Шерсть стала дыбом. Не будет ли грозы? В тревоге он выскочил из норы. В ту же секунду перед его глазами на сухом опаленном бугре сверкнули серебристые жирные кольца. Змея грелась на солнце. Она испугалась и зашевелилась, потом замерла. Приподнятая откинутая узкая голова выпустила жало. Это была Сия.

Мурри-Кок опешил. Горло мгновенно пересохло. Змея была совсем близко. Ее сощуренные властные глаза вперились в глубину его зрачков. Царица первая пришла в себя и улыбнулась.

— Здравствуй, мой маленький одинокий мудрец, — ласково прошептала она: — рада видеть тебя в добром здоровье. Я пришла тебя проведать.

— Будь гостьей, — сквозь зубы обронил Мурри.

— Я знаю, ты предубежден. Мне нелегко будет добиться твоего доверия, но я попытаюсь. Ты ведь единственный, с кем стоит говорить в лесу. Ты много пережил, несмотря на молодость...

— Да, — грустно согласился Мурри: — я из другого леса. Меня принесла буря...

— Забудь, забудь скорее о своем несчастном детстве. Поверь, я многое бы дала, чтобы ты о нем совсем забыл! Я пришла не плакать вместе с тобою, но развеселить моею мудростью. Знаешь, кто я? Сия... царица...Да. Я не хочу важничать перед тобою моею силой (запомни, что я во много раз сильнее тебя!). Мне нужен искренний друг... слушатель... Ты можешь понять мою трагедию — я оклеветана от начала времен! На моем теле нет ни одной чешуйки, в которую бы они — мягкотелые, краснокровные — не ударили ложью! Разве

я кого-нибудь трогаю зря?! Разве я играю мышами, как кошка?! Посуди сам: должна же я что-нибудь кушать! И не в еде дело. Я люблю одиночество, созерцание, размышления. Но они говорят, что у каждого я лежу на дороге. Не могу же я позволить наступать на себя. Покой мне дороже всего. И виновный должен быть наказан! — Змея свистела от злости. . .

Мурри-Кок вздохнул. Сердце стучало в груди, но он слушал. Ему льстило внимание царицы.

— Я знаю, — хвалилась Сия, — целебные травы и яды, причины ветра. Знаю жизнь человека, лабиринт его мыслей. Вода меня не пугает. Я знаю больше. О, значительно больше всех живых существ, потому что я знаю Начало. Но этого и тебе не понять. — Сия собрала все свое туловище к голове, словно готовясь броситься на невидимого врага. Мурри-Кок вздрогнул. Он ясно вспомнил свою мать. Она прыгала. Но его собственные члены коченели в странном равнодушии. В глаза ему вонзился острый царицын взгляд.

"До завтра", — сухо бросила змея и скрылась. Через минуту далекий шорох указал ее путь.

"Умчалась!" — взвизгнула маленькая Уистити, евшая банан на верхушке дерева. Она выпустила ствол из тонких цепких лапок и бросилась трезвонить по всему лесу, что царица Сия заключила с Мурри-Коком союз. Держись, лес!

— Паршивец, пришелец, изменник, чужестранное рыло, — так честили Мурри-Кока от южной границы до северной. Услышал Сокол, прилетел увещевать:

— Учили тебя жить не отец, не мать, а чужая медведица. Но и она по правде живет, лесной закон соблюдает. Берегись, Мурри. Ты бесишься, ты чего-то в жизни не знаешь, что знал твой род. Мучайся, но унывать не смей. Жизнь дается лишь один раз, и прожить ее нужно честно и смело! Я сказал, а ты там делай, как хочешь. . .

Два дня и две ночи скитался Мурри без пищи. Гремела кровь в висках, и было ему тошно и тяжко, словно нутро наизнанку вывернули. На третий день прибежал он на поляну. Застал там столпотворение. Кого-ко-

го только не было; весь лес собрался и глядел на невиданное чудо.

Высоко на широкой платановой ветви, распустив бриллиантовый хвост, сидела Жар-Птица. Светлым пожаром охватило лес кругом. Больно было глазам от блеска ее перьев. Золотились стволы, зеленые листья трепетали, как лепестки чайной розы. Звери стояли в радостном столбняке, жмуря любопытные глаза. На плоском темени у многих играли звезды, и уши прозрачно розовели. Лес млел от неожиданного счастья.

Но не радость и не веселье бросили Жар-Птицу, дочку Солнца, в заброшенный лес. Она летела высокой дорогой вместе с братьями орлами, а спустилась потому, что изнемогла и должна была снести яйцо. Оно лежало рядом с матерью в колыбели плоской изогнутой ветви. Сквозь скорлупу видно было, как переливался живой огонь, заключенный в тонкие стены.

Тяжело дышала Жар-Птица, оглядываясь по сторонам. В ее печальных глазах таилось беспокойство. Она ждала, кого ей подскажет судьба взять в пестуны родного яйца.

Мурри-Кок последним попал на поляну и приютился на колючем кусте шиповника. Больно было лапам, но очень уж хотелось хорошо видеть. А Жар-Птица увидела его и заколыхалась от радости. Никто ей не говорил, сама знала его имя.

— Пойди сюда, Мурри-Кок, запомни, что я тебе скажу. Сейчас мне снова нужно подняться и лететь в дорогу ночную, далекую. Тебя я назначаю дядькой моего яйца. (Не унести мне его с собою). **Береги его больше жизни!** Настанет день, вылупится птенец, сразу взрослый, сразу мудрый. Он тебе за твою ему службу песню споет. Покажи мне свой дом.

Бросился Мурри к норе, а от нее клубком откатилась гадюка, служанка Сиина, должно быть высматривала.

Положила Жар-Птица яйцо в узкие ворота, подождала, пока Мурри-Кок не закатил его в дальний угол в теплые нежные листья; вздохнула, сказала:

— Спаси тебя Бог! — и улетела. Изумился лес. В

этот день Мурри-Кока никто ничем не попрекнул. Поджали звери хвосты и разбрелись, кто куда.

Стал Мурри-Кок счастлив. Спит ли, проснется-ли, на страже стоит, яйцо караулит, никому не показывает и все ждет, прислушивается, не застучит ли о тугую стенку удивительный пленник.

Но все было тихо внутри. День исчезал за днем и ничто, казалось, не изменилось, за иключением отношения зверей. Лишь иногда срывался у чижика упрек: — Ну, как ты мог дружить со змеею? — Нет, я не дружил, — оспаривал Мурри неуверенно. А в душе в те долгие часы, когда он лежал у выхода из своей норы, пробуждалась скука и желание знать, что бы еще могла ему рассказать змея, если бы ее посещения внезапно не прекратились.

***

Уже близилась осень. Листья молчаливо падали. Солнце приказало деревьям оголиться к зиме. Мурри-Кок решил отправиться на коротенькую прогулку. Не успел он пробежать до опушки, как тайное беспокойство погнало его домой. Поляна была ярко освещена. Вдруг навстречу Мурри сверкнули два живых топаза, и среди желто-красного шевелящегося ковра показалась черная голова Сии.

— Это я, — сказала она: — не соскучился? Весь лес кричит о твоем счастье, но на твоей мордочке радости не написано. Или яйцо Жар-Птицы фальшиво? Или птенец уже умер внутри? Не вздрагивай так бешено, я ведь только спрашиваю... Вопрос — половина ответа. Что, не так ли?

Мурри-Кок бросился в нору. Яйцо лежало на своем месте, чуть светящееся в темноте. Он хотел остаться около него, вкусить покой, но тщеславие тянуло его наверх похвастаться перед Сией, унизить ее. Змея слушала молча его повествование о красоте будущей Жар-Птицы, а когда он кончил, с ироническим прискорбием воскликнула:

— Если тебе суждено ее дождаться. Мать не сказала тебе срока. Жар-Птицы живут по тысяче лет,

и возле прекрасного яйца когда-нибудь, может статься, лягут твои покорные старые косточки. Бедный мой зверек, ты губишь свою молодую жизнь ради несбыточной мечты, а между тем ты бы мог ею воспользоваться для себя. Боюсь, что с твоим простодушием ты легко дашь себя обмануть. Скоро наступят холода, и я уйду в землю. Мои подданные уже рыщут в поисках уютного уголка для меня. К одному — на кладбище — я уже присматриваюсь и жду. Ха-ха-ха... А весною, когда еще раз возродится мир, советую тебе жениться.

— На ком? В лесу у меня нет пары. Разве я ее не искал?

— Ты хочешь продолжить свой род Мурри-Коков. Это совсем неважно. Не будь черезчур разборчив. Я пришлю тебе какую хочешь обезьянку красавицу, и твои дети будут прыгать не по земле, а по ветвям. Ты не думаешь, что они от этого станут знатнее и благороднее? Не забудь также, что от обезьяны произошел человек, как твердят большие умы по городам. А не хочешь одну, мои слуги будут тебе пригонять их хоть каждый день новую, прямо к норе, и тебе стоит только высунуть нос, чтобы она сочла тебя своим спасителем! Думай! А пока прощай. Мне будет жаль, если твой хорошо устроенный мозг погрязнет в косности. Потому что яйцо, хотя ты его и видишь, ничто иное, как суеверие.

Мурри-Кок вернулся к себе домой и стал думать. Он попробовал толкнуть яйцо — авось вылупится птенец, но отдернул лапку — его обожгло. "О, неблагодарный", — заворчал он, облизывая мягкую подушечку ладони: "я ли тебя не берегу? Да еще, может быть, напрасно. Сия — мудрая царица, она все знает". Без радости, словно по принуждению, он оберег яйцо на зиму, завалив его камнем в глубокой мягкой нише, закрыл вход и выход и лег у самого камня, погружаясь в спячку. Во сне, который начался тревогой и сомнениями, он позабыл свою мать и породу, и когда весна его разбудила, в крови тек яд очерствевшего сердца. В своей надежной постели безмолствовало яйцо. Оно побелело,

и меньше света играло за отвердевшей оболочкой.

"Что ж, эта крепость просуществует еще сотню весен!" — злобно прошептал Мурри: "Я хочу жизни. Я хочу деятельности". А Сия была уже тут-как-тут.

— Деятельности, — свистела она радостно: — сколько угодно. Только исполняй мои приказания. Ну, например, помоги мне наказать дерзкую лисицу. Вызови ее лисенка на середину леса, а там с ним покончат мои воины. Я такими мелкими делами не занимаюсь.

Еще. Змея диктовала, Мурри-Кок выполнял. "Милый спорт" называла Сия травлю зверей, и Мурри, сначала неохотно, как загипнотизированный, принимавший в нем участие, постепенно вошел во вкус. Благодаря дружбе с царицей, он познал прелесть власти, хотя бы и ненавидимой, и все больше находил виноватых и дерзких среди обитателей леса. Разве его не обижали?

Вавака проводила своих детей подальше от его норы. Когда однажды он приблизился, чтобы поиграть с медвежатами, заботливая мать крикнула: "Бегите, это Мурри-Кок, значит и змеи здесь".

Змеи бесчинствовали, глумились, травили, жалили. Лес был полон преступлений. На Сию нашло вдохновение злости.

И вот настала ночь, когда, борясь с тоской, которая глодала его опустошенное сердце, Мурри-Кок захотел повидать Сию в ее мрачном дворце. Погружаясь в высокую траву, он понесся через поле по направлению к оврагу. Он выбрал необычную дорогу, желая миновать водопой, где в этот час собирались звери. Мурри-Кок очутился на скале, господствующей над серединой оврага. И вот, что он увидел.

Овраг был залит лунным светом. На узком синем берегу ручья, окружив горделиво выпрямленную Сию, змеи танцовали. Сверкали алмазы чешуи, гнулись и ломались гибчайшие тела. Казалось, в них не было веса. Хвосты служили пьедесталами вытянутым черным и серым лентам. Толстые, тонкие, большие и малые, они плясали танец радости и торжества, свистом восхваляя

ум своей повелительницы. "Лес наш", — милостиво кивала Сия. "Мангусов не будет. Жар-Птица не родится". На теле Мурри-Кока сжались все мускулы. Он превратился в пружину. О, как он их ненавидел, когда они были все вместе. А между тем каждый день он пользовался их услугами и подобострастным вниманием. Он привык к их плоским склоненым головам и шепоту: "Наш друг! Наш сотрудник! Умница!"

Ошеломленный, стараясь быть незамеченным, он вернулся домой. Мурри-Кок знал, что никогда раньше змеи не были так наглы. Старый лев, дед царствующего, подох около самого ручья. На его теле была ядовитая ранка. Кровь свернулась в жилах веселой куницы, и как же надрывно она кричала, расставаясь с детьми. Сироты-кунички попались кому-то в зубы... "Но ведь закон леса — жестокость", утешал себя Мурри: "и, кроме того, я здесь непричем". Однако, на дне души шевелилась полузадушенная совесть и с усилием твердила: "Ты лжешь. Ты лжешь. Ты лжешь". Мурри-Кок одел на себя печаль и стал причитать при восходе солнца и при его заходе, думая откупиться от болезненных уколов совести. "Меня не понимают", — плакал он, "я от всей души хочу быть хорошим и добрым, но что же мне делать, если все звери на меня ополчились, и я никого не люблю! Вокруг меня заколдованный круг". Но он не сказал никому о том, что видел в овраге в лунную ночь и попрежнему любезно принимал Сию. "Друзья!" вздыхали звери. Орел грозно щурился, пролетая над поляной, а галки спрашивали друг друга:

— Царь пернатых? — Царь.

— Видит око? — Видит.

— Будет возмездье? — Будет.

ГЛАВА III.

По старой привычке Мурри-Кок каждый день укладывал мох около яйца, дышал на него и здоровался. Его еще не совсем покинула надежда увидать молодую Жар-Птицу. Проделав всю утреннюю церемонию, он вышел погреться у входа. Соседи вежливо, но хмуро поздоровались, помолчали. Вдруг мимо, навострив уши, промчался заяц. Его розовый рот был открыт от страха. Он выпорхнул на опушку и скатился на луг. Все кругом насторожилось. Лисица потянула воздух, наежила брови и неторопливо ушла. Она никогда не говорила о неприличных вещах. "Что случилось?" спросили у Сокола, парившего над поляной.

"Человек идет!" крикнул он сверху. Звери бросились врассыпную, а кто посмелее и полюбопытнее забился в ветвях деревьев, приник к стволу, залез в дупло, высунул нос из норы. Открыто стрекотали только кузнечики, грациозно скользили стрекозы, да ползали муравьи, никогда не теряющие ни одной минуты. Все взметнулось и так же быстро стихло. Сухо трещал валежник под тяжелой поступью. Двуногий приближался. У Мурри-Кока захватило дыхание, но он решил встретиться лицом к лицу. Мурри-Кок встряхнулся, распустил хвост и сел на поляне невдалеке от норы. Человек появился на тропе, молодой и веселый. Он шел, напевая:

"Жить-жить-жить, лишь бы только жить и любить"...

Человек, конечно, был очень хорош собою. Голова, как цветок белорозового цвета, пушистые волосы, румяные выпяченные губы. Свободно болтавшаяся "шкура" состояла из чего-то красного, желтого и коричневого. Юноша пел и присвистывал длинной музыкальной трелью. Правду сказать, соловей забился в гнездышко и уткнул голову под крыло, чтобы не слышать. Но... это был человек, и он ослепил Мурри-Кока. Кузнечики, стрекозы, пчелы, муравьи и две белки кокетничали, изображая из себя население леса. Среди обычной картины человек увидал зверька, спокойно и

очень серьезно глядевшего на него большими ореховыми глазами. Человек остановился, хлопнул себя по коленкам: "Вот так штука! И не пугается". Он протянул руку и погладил теплый комок. Мурри-Кок понюхал руку, пахнувшую здоровой кожей и табаком. Знакомство состоялось, и все последующее произошло с молниеносной быстротой. Человек еще раз погладил и даже слегка прижал нежный кончик хвоста. Мурри-Кок издал ласковое ворчание. Тогда человек, показывая зубы, загоготал и поднял его на руки. "И обрадуется же Лизок, когда я ей принесу такую чучелу! Пойдем-ка, брат, к нам на фабрику. Там жить веселее, чем в твоей глуши. Я завтра женюсь, и будет пир-тарарам на всю нашу улицу".

Над головой Мурри внезапно появился расхрабрившийся чижик.

— Беги! — закричал он: — спасайся, ведь это человек!

— Так что же? — ухмыльнулся Мурри, — я его не боюсь. Ты видишь, мы сразу стали друзьями.

— Не ходи, спасайся! — кричал бедный чижик и, дрожа, бросился человеку в лицо, чтоб отвлечь его внимание и дать возможность Мурри вырваться и скрыться. Но тот плотно уселся у самой груди человека и слушал, преисполненный нежности, как билось большое беспокойное сердце. Еще Мурри запомнил, что вбок от тропы ползали служанки Сии, а сама она показалась из оврага и ласково шипела: — Успеха! Мурри-Кок, успеха!

Молодая лисица сделала ему из норы умильную рожу: — Какой, мол, счастливец! Едет на руках у человека.

Прошлого для Мурри-Кока больше не существовало. Все было во вновь наступающем будущем. От пережитого волнения он задремал, а когда очнулся, лес остался далеко позади. Жара спала. Солнце закатывалось, посылая огненные лучи по зеленым и синим квадратам обработанных полей. Совсем близко вырисовывались стены домов, то низкие, обитые зеленью, то образующие тяжелые кирпичные корпуса, и над всем

этим людским городком вился густой серый дым фабричных труб. Их было несколько, разбросанных вдоль селения, а над ними господствовала одна самая красная, самая толстая, самая высокая в шапке черного клубящегося дыма. "Вот Сия и ее подданные", подумал Мурри.

Человек перешел с тропы на дорогу. Пыль поднялась под ногами и забилась Коку в нос. "Какая гадость!" простонал он сквозь кашель и чих.

"Да будет тебе вертеться", досадливо проронил человек, глядя на зверька своими черными длинными глазами и острым носом. Этот нос Мурри запомнил навсегда. Он был неладный, в три угловатые зазубрины (люди бы сказали: трехэтажный нос). Они вступили на городскую улицу. Кругом стоял невероятный шум, еще более усилившийся, когда мальчишки увидали на руках у Лукавого Гришки диковинное животное. Целая ватага любопытных и озорных окружила человека. Мурри-Кок перепугался и пищал, но ему нечего было беспокоиться. Гришка не собирался расставаться со своей добычей. Он крепко выругался сквозь мелкие белые зубы, дал ближайшим пинка и вошел в ворота. На дворе залилась собака, дергая цепь; заклохтали гуси. Старая женщина появилась на крыльце. В руках у нее был чулок со спицами. Не переставая вязать, Анна набросилась на сына:

— Куда тебя носило, беспутный! Завтра под венец, а ты пропал на три дня. Что принес? — Деньги, да вот этого зверя.

Старуха охнула: — Отца не перепугай. Плох он. Того и гляди душу Богу отдаст. Отложить бы свадьбу-то . . .

— А Лиза выйдет за другого. Нет, шутишь, мать. Если что случится . . . Ты иди за гробом,а я в управление брак регистрировать. Не такой Лизочек кусок, чтобы его упустить. На сало все падки . . . Завтра ярмарка, цыгане приедут, свадьбу завтра справим. Лиза сказала: "Хочу праздновать свадьбу по-веселому. Отдам свою свободу так, что чертям будет жарко. А зверя не бойся — ручной, сам в руки лезет".

— Чудны дела Твои, Господи! — старуха кончиками сухих пальцев потрогала голову Мурри. Он высунул язык и лизнул темный тергамент ее кожи. Старуха явно была хорошая. Анна подняла его с земли, где к нему уже приглядывался гусак, и понесла в дом.

В полутемной комнате лежал больной старик. Мурри-Кок увидал желтые выдающиеся скулы, запавший рот. Замигали глаза, тонкие губы с трудом пришли в движение; старик сердился.

— Что же это такое? Зачем? Ну, зачем зверя тащат? В лесу ему место. Он — Божья тварь. Ох, озорники. Ох, Анна, мучители... мочи моей нет. Тяжко душе с телом расставаться... А зверю молока дай. Молока, Анна. — Усилие его истощило. Старик всем своим высохшим телом погрузился в подушки. Жена подошла, уложила голову, подмостила маленькую подушку под бок.

— Потерпи, Ваня, недолго терпеть. Потерпи еще несколько дней. Может быть, при тебе и наш беспутный в церкви обвенчается.

Старик помотал головой, как обрубком дерева: и не надейся, мол. Куда там... "Другие они, Анна, другие... Богу молюсь, пусть хоть внуки, правнуки образумятся... Зверь где?"

— Вот он. Да посмотри, какой славный, пушистый: он тебе ноги обогреет... — Старуха посадила Мурри-Кока на одеяло, на два торчащих острых бугра. От старика шел дурной запах. Он часто дышал. Смерть, знал Мурри-Кок, стоит за дверями. Она ждет последней положенной минуты, выйдет и выгонит жизнь из тела, а т а м ее встретят... Да, кто только встретит. Чтобы угодить доброй старухе, Мурри лег и приготовился задремать.

Внезапно дверь распахнулась. В комнату ворвался свет, ветер и раскатистый смех. Две девушки, плечо к плечу, стояли посреди горницы, две белокурые сестры — Лиза и Ольга. Старуха обернулась от печки: — Невместно тебе, Елизавета, сегодня приходить к нам, завтра ведь свадьба.

— Я не к тебе, бабушка, я деда навестить. — Она

наклонила к старику румяное пытливое лицо: — Как дела? Болят ли косточки? Доживешь ли до послезавтра? Я тебе вина принесла. На, подбодрись, — и сунула в уголок кровати бутылочку с темным жгучим вином.

— Ох, девочка, плохо... А вина мне не надо. Нет... красавица... не доживу

Откинулась Елизавета, нахмурилась, посмотрела в окошко, словно стекло прорезала Другая сестра шагнула вперед. Глянули в тусклые погасающие щелки большие синие глаза, подернутые слезой.

— Ничего, дедушка, не бойся. Бог приберет. Ты не много успел нагрешить. А я твою могилу украшу цветами. Завтра, дедушка, распустятся розы на моем кусте. Завтра...

Увидел Мурри-Кок, что закапали слезы из-под длинных собольих ресниц, горькие, потаенные.

— Добрая ты, Ольга, добрая... да земля-то, земля-то холодная...

Ушли девушки. Стихло. Старая Анна налила на блюдечко молока, накрошила хлеба, накормила Мурри-Кока, погладила и спать уложила возле стариковых замерзающих ног. Принял он все спокойно, благодарно и уснул, но не надолго.

Ночью мыши прибегали из соседней комнаты, сплетничали: в коробе, что принес с собою жених из большого города, разные вещи к свадьбе: шелковые носки для жениха; невесте в подарок — кружевная рубашка, шоколадные конфеты и белила. С улицы доносилась пьяная песня, гнусаво кричал граммофон о страсти, лобзаниях, да собака выла к смерти хозяина.

Старуха молилась у маленькой старой иконы в углу, суетилась то около больного, то у печки месила, катала, пекла пироги. Не выдержал Мурри-Кок, встала шерсть, и закликал он вместе с собакой: "Не к добру. Не к добру. Поруха дому сему!"

Старуха в пироги плакала о старике, о себе, о конце, о том, что войдет в дом невестка бесстыжая, злая.... не защитит мать Гришка влюбленный. А за что влюблен-то? В волосы рыжие.

Странно было Мурри, что люди так плохо, тоскливо живут и беспокойно умирают.

С раннего утра зазвенели бубенцы на телегах — приехал цыганский табор. На площади раскинулась цветистая ярмарка. Григорий в кепке набекрень, с выпущенным на лоб завитым у парикмахера локоном ходил гоголем, носил на руках Мурри-Кока в ошейнике, на цепочке, выдавал его, усмехаясь, за редкую дорогую обезьяну. У торговки купил он для Мурри желтое детское платьице, но не надел, а спрятал в карман — пусть Лиза потешится.

Под вечер из городского управления, где молодые записались мужем и женой, приехал свадебный кортеж. Открыли чистые комнаты, ввалились гости. Потекло вино, завизжали скрипки. Среди красных ухмыляющихся лиц сидела разряженная невеста, блестя золотыми серьгами, ожерельями, прядями рыжих волос, стянутых белым венчиком. Хороша была Елизавета — спору нет. Но рядом с ней сидела белокурая сестра с двумя длинными косами вдоль плеч, и в каждую косу вплетена была малиновая лента. Хмурятся от зависти невестины красные брови; вместо радости, в сердце злость накипает; собираются на лбу тупые морщины, и хочется ей на ком-нибудь сорвать свою желчь. Разве она не царица сегодня?!

Сидит Мурри-Кок на коленях у Ольги; кормит она его пряником, но жутко ему, не идет в глотку чудная еда. Убежал бы, да Ольга с рук не спускает, зовет своим дитятком, шерсть его гладит, в морду целует, ласково приговаривает...

Пьют гости за здоровье молодых. Молодые целуются. У Гришки глаза — тлеющий уголь. Берет он Мурри-Кока на руки (коротки и узловаты его пальцы), передает Елизавете и зверька, и желтое платьице:

"Вот тебе мой лучший свадебный подарок. На! Тешься, как знаешь: хоть изжарь, хоть спать с собой положи".

Обрадовалась женщина живой игрушке. Схватила, на стол положила, пальцем грозит; натягивает на утом-

ленное Муррино тело дурацкое желтое платьице. Окружили молодую подружки — все хмельные, веселые-развеселые, требуют, чтоб и зверя вином напоить. Пусть будет пьяненький и на столе потанцует. А кто-то из парней догадался потушить о него папироску. Все его дергают, мучают, оглушают смехом в самые уши, поднимают губы, стараясь ножичком зубы разжать. Потекла ему в горло пахучая жидкость. Опрокинули девушки зверю в глотку стакан крепкого вина. От боли и головокружения не помнил он, сколько времени прошло. Была уже ночь на исходе. Слышит Мурри-Кок, как шамкает возле него старая ведьма-родственница:

— Шкурка-то, шкурка-то какая нежная! Уж как мне бы на воротник подошла!

Оглянулся он, а комната уже полупустая, двери и окна на запоре, бежать некуда, спрятаться негде. Защемило сердечко острой тоской: "Неужели пропадать придется среди злых людей?!" Вырастает каждая секунда в минуту, а минута в час...

Но вбегает белокурая Ольга. Уже выплетены малиновые ленты из кос, что волною покрыли плечи ее светло-голубого платья. Вспомнила младшая сестра о своем "дитятке" и как раз во-время — старухин сын брал уже нож в руку и качающейся походкой приближался к зверю. Взяла девушка его на руки и вон из комнаты. В сенях руки разжала, выпустила. По стенке добрался он до стариковой комнаты.

Горела лампада перед образом Спасителя. Высоко в подушках покоилась голова умирающего. Клином воткнулась седая борода в темное одеяло, сухо глядели строгие глаза; ох, какие строгие!.. Старуха сидела на краешке постели, грела на своей груди холодеющую руку. Больше не плакала, ждала покорно торжественной минуты. Уходил ее друг навеки. В душе молилась — часы продлить, или чтоб сердце у обоих в один и тот же миг остановилось и вместе две тени покинули опостылевший дом. Забеспокоился старик. Хватило силы пальцем показать на жалкий желтый клубок, под-

катившийся к постели, чуть слышно шепнуть: "В лес. Зверя-то ... в лес ... Дорогу сам должен знать".

Старуха сняла ошейник с Мурри-Кока, открыла окно в росистый сад и не успела рук разжать, как зверь дернулся и бросился бежать и прыгать.

ГЛАВА IV.

Ночь кончалась. Был мертвый предрассветный час. За спиной Мурри-Кока, в избе еще гомонила страшная человеческая нечисть. Перемахнул он через забор на улицу и понесся стрелой, чтобы до зари миновать поселок. Помнил он мост и реку, которая должна его довести до знакомых лугов. Бежал, пока не изнемог и не свалился в неглубокую яму спать. Сон сковал его, а когда он очнулся, то не понял, что же случилось. С неба смотрел большой рог луны, дерзко блестящий на черном фоне. Сон вернул ему силы. Еще болели мелкие ссадины, но хуже было на сердце, там созревал смертный приговор: как жить? Как в глаза глядеть, когда нет ни одного незатроганного волоска. Когда побит, обожжен, опозорен. Так вот каковы люди! Он не сбросил с себя пестрых тряпок, они бередили горечь, а горечь и вопль стали его песледней усладой. Он проклянет весь мир, он не будет есть. У себя в норе, где пахнет землею, он протянет истомленные, но гордые косточки ... В полном одиночестве ... "А-а-а ..." застонал Мурри-Кок и одним прыжком выскочил из ямы. Нора ведь была не пустая ... В ней лежало забытое им яйцо Жар-Птицы — белое, лучистое, светящееся изнутри. Мурри несся по полям, не замечая пространства. Трое суток его не было дома. Кто там хозяйничал? Как мог он забыть? Или Сия своим последним взглядом отняла у него память?

Зеленые луга таяли, лес рос впереди в бледном свете наступающего утра. Сердце Мурри-Кока сильно билось в груди; оно росло, оно наполнялось тревогой

и любовью. Ненаглядное золотистое яйцо, из которого когда-нибудь — пусть это будет на старости лет — вылетит молодая Жар-Птица. Она озарит весь лес и скроется в лазури неба, но прежде, чем улететь, споет свою песню...

"Вперед, Мурри-Кок! Ни одной секунды промедления!" Сам ли он крикнул? Нет. То Сокол парит над ним беспокойными кругами: "Вперед, Мурри-Кок!"

Но ему мешает платье, а лисица уже визжит на опушке: "С возвращением. Хорош! Что на тебе завязано? Или собственной шерсти нехватает?" Сверху лают обезьяны: "Торопись, у твоей норы праздник!"

Мурри-Кок зацепился за сук и сорвал ненавистные лохмотья. Из дупла блеснули желтые глаза Бурчи: "Будешь знать, как свой дом оставлять!"

Чижик, задыхаясь от волнения, бросается навстречу: "Беда! Уходи, Мурри, куда хочешь. Уже сутки к твоей норе нельзя подступиться — змеи ее осаждают. Сия правит около нее церемонию. Все придворные в блестящих туалетах. Сам церемониймейстер — индийская кобра — 12 часов расставлял их по рангу... Я караулил, но что я мог сделать!" Чижик плакал.

Для Мурри-Кока окружающее больше не существовало. Его вели два видения: его Мать и Жар-Птица: "Помни, Мурри, береги яйцо больше жизни".

Он бросился к норе. Любопытные обезьяны помчались по деревьям, перехватывая ветви, а в вышине слетались орлы. Боевым клекотом наполнился воздух:

"В бой, Мурри-Кок, в бой!"

В траве в кустах ползали одни только жуки да муравьи. В опустевшую область вступил Мурри-Кок. Он плохо сознавал, как легок был каждый его скачок и осторожен, как зорко глядели глаза. Мелькнули вытянутые ленты — Сиины воины замыкали дорогу. Он их не коснулся, перелетел, а они неповоротливо вскинулись и остановились. Замирали у них нервы от гневного орлиного крика, и глаза обращались в сторону медленно опускавшихся растопыренных жестоких когтей пернатых царей. Вблизи норы шептались придворные змеи:

— Что-то будет?
— Сия не выдаст.
— Не сомневайтесь. Сомнение запрещено.
— Сия сильнее всех.
— Конечно, но если бы... Зачем царица медлила?!
— Двое суток нежилась около яйца!

— Вы осуждаете... Хотя могла бы его и проглотить.

— 100 раз... 200 раз... и нас не подвергать опасности...

Встретились на поляне. Предупрежденная стражей Сия ждала. Она только что выползла из норы, подняла блестящее черное тело, вытянула голову и в раскрытой пасти держала неповрежденное сияющее яйцо. Уголки ее рта искривились злобной насмешкой, взгляд был полон презрения. Это был враг во всей его красе.

"Наглая лгунья!" — гневно завопил Мурри-Кок. "Положи яйцо, или я превращу твою голову в битую скорлупу!" Змея смеялась всем телом. Оно клубилось, то утончаясь, то утолщаясь. Яйцо играло в ее зубах.

Дрожа от ненависти, Мурри-Кок прыгнул, перелетел через Сиину голову, повернулся в воздухе и острыми зубами впился в загривок. Змея выронила яйцо, напрягла мускулы шеи и освободилась от Мурри-Кока. Он отскочил в сторону. Тяжелый хвост ударил его по спине. Но он уже снова прыгал, хвост соскользнул и обрушился на пень. Сия шипела от злости и боли, ядовитая пена капала из уст. Вторым глубоким укусом Мурри-Кок добрался до хребта ,но тело змеи борется от головы до хвоста; пружинные мышцы его откинули — от удара потемнело в глазах. Теперь наступала змея. Она свернулась винтом, она удесятерила силу. Ее враг лежал распростертый на земле. Сия приостановилась, выбирая место, куда впустить свои клыки. О, он будет доволен, когда яд потечет по жилам, и свернется кровь... А потом, на глазах умирающего, она проглотит яйцо — пусть песни Жар-Птицы сварятся в холодном желудке. Пусть знает дерзкий глупыш, что значит змеиная дружба.

Мурри-Кок чувствовал, как судорожно сжимаются веки, слабеют ноги. Перед ним высилась, раскачиваясь, черная страшная башня, и смерть дышала в лицо. Мелькнула мысль: "Так умирала и моя мать. Иду к ней!.."

Внезапно тонкий луч света вошел в его расширенные зрачки — яйцо сверкало. Оно звало на помощь, как звал его и друг Сокол, низко летая над поляной:

"Мурри-Кок, к жизни! Мурри-Кок, в бой!"

Напрягши мускулы, не сознавая, повинуясь приказу, Мурри-Кок прыгнул вбок. И было во-время: голова змеи пришлась на то место, где на секунду раньше было его горло.

Обманутая Сия яростно повернулась; она бросилась грудью, далеко откинув голову назад. Мурри-Кок прыгал: раз-раз-раз. На пятом прыжке он очутился сзади проклятой плоской головы с вытянутым жалом и погрузил свои зубы в первую рану; когти его впились в горло змеи, выдавливая и жало, и глаза из их орбит. Сия вытянулась, дернулась — вот-вот вырвется, но Мурри держался крепко, держался не на живот, а на смерть. Если погибнуть, погибнуть вместе, яйцо уцелеет, и песня будет спета, не для него, так для других. Сия металась и билась по земле, и вместе с нею метался и бился Мурри, принимая удары о землю. Он слышал свист придворного льстеца, он видел краем глаза, как орел уносил его бессильно повисшее в воздухе серое элегантное тело. Он слышал еще один звук — хрупкий треск, но повернуться не мог — змея ударяла хвостом в последних предсмертных усилиях. От боли Мурри-Кок закрыл глаза и терпел. Он знал: кто вынесет муку, тот победит. Надо дышать, не разжимая зубов, надо заводить когти все глубже и глубже и не думать о боли. Мурри держался зубами и лапами за ослабевшее горло змеи, он чувствовал, как она выпрямляется мертвою палкой.

"Победа!" закричал чижик, опускаясь на Сиину голову, чтобы выклевать глаза. "Один кусочек", щебетал он заботливо, "я отнесу моей супруге. Не каж-

дой птице удается полакомиться царицыным глазом. Не вкусно, но очень знатно".

Мурри-Кок лежал неподвижно. Он был до костей избит тугим жгутом. Сердце едва работала в груди, поднимавшейся, как пустой ящик. Ни за какие сокровища он не откроет глаз. Отдохнуть или умереть, но не шевелиться. Одни только уши слушали и доносили: змеи покинули свои посты; придворная медянка убе-

— В овраг! Под корни! В тину! — и воинство последовало за ней. Кругом тихий ход приближавшихся зверей. Обезьяны повествуют наперебой:

— Мы все видели. Мурри-Кок герой. Он погиб смертью славных. — Ничего подобного. — Живехонек.

— Дайте ему очнуться, — нежно рычит Вавака, облизывая Муррино горячее темя: — теперь я понимаю, почему он учился прыгать. Жаль, что мои дети подросли, а то бы я их тоже научила прыгать...

Сквозь довольный, благожелательный говор зверей пробился сильный треск и раздалось всеобщее "Ах!" В лицо Мурри-Коку пахнуло ярким светом. Он открыл глаза и забыл о боли.

Над его головой, на старом платане, сидела чудесная птица. Оранжевый пух покрывал ее грудь и шапочкой лежал на голове. От крыльев, хвоста и высокой короны шли снежно-белые лучи. Мурри-Кок замер. Притаился, склонившись, весь лес.

Жар-Птица глянула ввысь на синее небо, куда лежал ее полет, глянула на землю, на распростертую слепую змею и ее чуть живого победителя. Кровь запеклась на полуоткрытых губах Мурри. Его темно-ореховые глаза были полны кроткой веры и ожидания, словно говорили: "Я все приму, что Ты мне дашь: и жизнь, и смерть".

И тогда Жар-Птица запела. Трепет прошел по листьям. Столетние ели склонили долу свою тяжелую хвою. Вытянулись и замерли цветы и травы.

Жар-Птица пела, и боль уходила из пораженных мышц Муррина тела. Он не чувствовал больше жгучих повязей и ударов, его кости становились все легче и легче, а перед глазами, развертываясь в нежном сия-

нии утра, замелькали любимые образы: Мать, братья... Он видел опушку могучего леса за горою; он видел узкую косу зеленого луга, уходившую в ущелье... Еще на миг мелькнули перед ним черные коряги над ручьем, мглистая топь вокруг дворца царицы змей... Но чернь корней бесшумно сгорела в пленительном свете розового пламени. Серебряные нити повели Мурри-Кока за собой. Эти нити были звуки, и они звали его в легкую бесконечную даль, где нет ни боли, ни грусти.

Когда Жар-Птица поднялась над лесом, и голубое небо приняло и поглотило блеск ее крыльев, звери очнулись. На поляне, широко открыв ореховые свои глаза, лежал навеки успокоившийся Мурри-Кок.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Este libro terminó de imprimirse
en los Talleres Gráficos "Do-
rrego", Dorrego 1102, Bs.
Aires, el mes de Agos-
to de 1960

СКЛАД ИЗДАНИЯ

VSEVOLOD DUBROWSKY
Casilla de Correo 2847, Buenos Aires
República Argentina